

Богословско-историческая коллекция
Духовные учебные заведения
и духовное просвещение в России

**ВОСПОМИНАНИЯ
И.Я. ПОРФИРЬЕВА,
ПРОФЕССОРА РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
КАЗАНСКОЙ
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ**

Православный собеседник, 2005,
вып. 2 (10), с. 88-170

© Сканирование и создание электронного варианта:



Учебный комитет РПЦ
www.uchkom.info



Казанская духовная семинария
www.kazds.ru

Москва, 2014

**Воспоминания И.Я.Порфирьева,
профессора русской словесности Казанской Духовной Академии**

Краткая записка о моем роде-племени и о моем домашнем воспитании и учении в духовном училище, Семинарии и Академии.

Васильево. 10 июня 1886 года¹.

Часть первая

Уже давно у меня явилась мысль составить хоть краткую записку о своем роде-племени – на память моим детям и внукам; но за разными делами и болезнями я до сих пор не мог даже приняться за ее исполнение. Хочу приняться ныне и написать, сколько смогу и успею, ныне другим делом я заниматься не могу, а оставаться совсем без дела скучно.

Я родился 23 сентября 1823 года в селе Атарях (Атары) Уржумского уезда Вятской губернии². Батюшка мой был священником этого села: о.Яков Максимович Порфирьев, а матушка – Екатерина Николаевна, урожденная Курочкина.

Род батюшки был крестьянского происхождения. Отец его, о.Максим, хотя тоже был священником, но был сын крестьянина. Между крестьянами Атар еще во время моего детства было много родных батюшки. Из них в моей памяти остался только один – Матвей Иванович Аверьянов, выслужившийся из крестьян офицер. Он еще при мне жил в Атарях. Потом перешел в город Нолинск на должность соляного пристава. Когда я учился в Нолинском училище, то часто ходили к нему. И он, и жена его принимали меня как родственника. О.Максим прозывался Перфильевым, Порфирьевыми стали называться его сыновья: Иван, Авраамий и Яков. Все они уже учились в семинарии и были потом священниками. Иван Максимыч – в селе Кырмыже³, Авраамий Максимыч – в Шурминском заводе⁴. А батюшка Яков Максимыч остался в своем родном селе Атарях.

Село Атары с церковью во имя Спаса Всемилоственного сначала находилось на самом берегу реки Вятки, потом, вследствие того, что вода затопляла берега, было перенесено кверху на гору, более чем на полверсты от берега. Это случилось при о. Максиме. На старом месте села еще в мое время стояла в развалинах старая деревянная церковь, мы, дети, часто бегали к ней играть.

Об о.Максиме мне мало известно. В живых я его уже не застал или уже не помню; помню только его жену, бабушку Акулину Ивановну, которая жила так долго, что, как говорили тогда, уже выжила из ума, от старости у ней было так много странностей, что ее считали помешанной и ее держали не в самом доме, а в отставной избе. Сердитая и брезгливая, здесь она жила на печи или на полатах. О.Максим считался богатым человеком. Говорят, разбойники несколько раз собирались ограбить и даже убить его. Однажды в глухую осеннюю ночь они забрались к нему в дом и начали спрашивать, где у него деньги. А так как он не сказывал, то пытали его на огне, но бабушка, спавшая где-то в чулане, услышала шум и крики дедушки, успела выбежать на улицу и, взбежав на колокольню, начала бить в набат. Это было еще время, когда село находилось на самом берегу р.Вятки. По берегам Вятки тогда был лес и страшная глушь, воровство и разбой в этих местах были делом до того обыкновенным, что им занимались целые деревни, как каким-нибудь ремеслом. Мирным жителям жить было страшно. Мне рассказывали, что, собираясь ехать куда-нибудь в дорогу за 50 или за 100 верст, путешественники не только служили молебны, но исповедовались и приобщались, боясь быть убитыми на дороге. Такие опасности существовали очень долго.

Батюшка рассказывал, что даже в то время, когда он был священником, примерно в 20-х годах, в один вечер вдруг к нему в дом является один мужик из разбойничьей деревни и заведомо считавшийся разбойником. Севши за стол, он вынимает из-за пазухи пистолет и, положив его на стол пред собою, начинает просить у батюшки денег взаймы 100 рублей, обещаясь возвратить их в срок. При такой обстановке отказать, конечно, было нельзя. Батюшка не только дал разбойнику денег, но и напоил его водкой. «Ну, о.Яков, – сказал угостившийся разбойник – за твое одолжение и угощение я расплачусь с тобой, беспременно. Приходи ко мне за деньгами в такой-то день». Когда настал этот назначенный день, батюшка долго в сильном страхе колебался, идти или не нет. Но 100 рублей, хотя бы и ассигнациями, в то время для сельского священника были большая сумма, и он решился идти. Разбойничья деревня была недалеко от села, только переехать на другой берег Вятки. Разбойник оказался дома налицо. Завидев батюшку, он встретил его и привел в избу. Посадив за стол на лавку, он спросил его: «Что, батюшка, за деньгами пришел?» А сам, взявши нож, начал точить его. В то время продолжал разговаривать. Батюшка ни жив, ни мертв, как говорится, сказал, что действительно за деньгами, если милость будет, а то он может еще обождать. «Ну, хорошо, хорошо, сейчас заплачу». И действительно вынес ему 100 рублей. «Спасибо, – сказал он, – что тогда из беды выручил».

При о.Максиме село Атары было перенесено на гору; при нем построена каменная церковь, отделана, впрочем, была при этом только теплая церковь, иконостас же в холодной церкви устроен был уже при батюшке. И я уже помню, как резали резьбу и золотили; мне тогда было уже около девяти лет. О.Максим в новом селе построил новый хороший дом деревянный. По смерти его дом достался батюшке, и в нем прошло мое детство до десяти лет. Дом был, впрочем, завещан всем братьям, и батюшка старшим братьям должен был заплатить за их доли, мне сказывали сколько, но я теперь забыл, едва ли не 400 рублей ассигнациями.

Старшие братья были сильнее и крепче батюшки, который был с малых лет слабым и болезненным, но, надеясь на свою крепость и силу, старшие братья не дорожили ими и предавались разным излишествам, особенно винопитию, и поэтому рано умерли, батюшка же при слабом здоровье совсем вина не пил и вообще так жил воздержанно и осторожно, хотя и в постоянных трудах, что прожил до 70 лет. Его пример был для меня поучительным и благодетельным примером.

Село Атары было двухштатное, с двумя священниками, дьяконом и четырьмя дьячками. Другой священник был старичок о. Гавриил Глазырин, дьяконом был его сын о.Димитрий. Дети его Иван и Алексей были моими сверстниками, мы долго вместе с ними воспитывались дома и долго учились в училище. Жена о.Гавриила была моей крестной матерью.

Несмотря на то, что в Атарях батюшка родился, вырос и был уже девять лет священником, он нашел нужным их оставить и переселиться в другое село. Во-первых, Атары было бедное село и собиравшихся доходов далеко не хватало на содержание уже значительно в это время увеличившегося семейства, во-вторых, приход в этом селе был самый беспокойный, село было на одной стороне Вятки, а приход на другой, противоположной. Так что при всякой требе, при всяких сношениях с приходом нужно было переезжать через Вятку на пароме или на лодке, во всякую погоду и во всякое время. Это особенно было тяжело, а часто опасно весной, когда Вятка разливалась, и осенью во время распутицы. В это время матушка всегда ужасно беспокоилась и томилась, когда батюшка уезжал в приход, и мы, дети, вместе с нею со страхом сидели по нескольку часов на крыльце отставной избы и ждали его возвращения. К тому же батюшка, родившийся и выросший на Вятке, был страстный рыбак и предавался с таким увлечением рыболовству в широких размерах, что в бурное времена, осенью и весной, подвергался страшным опасностям. Поэтому матушка постоянно плакала и убеждала его перейти в другое село.

Большое село было трехштатное, т.е. с тремя священниками, двумя дьяконами и шестью причетниками. Время переезда батюшки было, можно сказать, переходным временем от старых обычаев поповства к новым. Налицо еще были два старых заштатных священника и два новых, которые их заменяли.

Старые священники о.Гавриил и о.Даниил в своих понятиях и поведении мало чем отличались от своих прихожан и были заражены сами суевериями, которые они должны были сами истреблять в народе. О.Гавриил, на место которого поступил батюшка, желая пристроить свою внучку, подал преосвященному прошение, в котором указал на то, что он по старости и болезненности уже не может исполнять все обязанности священника, просил зачислить его место за его внучкой⁵. Владыка за неспособностью уволил его в заштат, а внучке место не дал. Это страшно озлобило о. Гавриила, и он положил мстить за это тому, кто займет его место. Зная поверье, что непременно постигнет несчастье того, кому при выходе или при въезде прежде всего попадетя поп, он вышел навстречу батюшке, когда тот в первый раз въезжал в Бельское село.

О.Даниил принадлежал к тому разряду духовных лиц, которые только поились и кормились от прихожан и забирали у них все, что попадалось на завистливые глаза. Прихожане рассказывали, что когда о. Даниил ездил на приход, то нужно было убирать и прятывать все, что лежало плохо: вилы, грабли, лубки, мочало. Потому что он, увидав, все забирал к себе в сани или телегу. Во время хождения с крестом по приходу слишком много пировали. Когда батюшка в первый раз по приезде в село ходил по приходу с крестом, то он вместо воды для освящения почти в каждом доме встречал на столе штоф или полштофа водки, и когда он делал за это выговор, то ему отвечали, что так было заведено прежними попами. Новые попы были люди трезвые и успевали обходить с крестом все приходы в три-четыре дня, когда прежде недоставало на это хождение и недели целой. Когда попы не пили, то перестал пить скоро и весь причт, и село Бельское сделалось вскоре образцово трезвым.

Из лиц причта, как на более замечательного, должно указать на дьякона Исидора Кузмича Шкляева. Этот человек для всего села был советником во всяком деле и особенно в каких-нибудь внезапных случаях: загорится в доме, захворает вдруг кто-нибудь, нужно купить что-нибудь, – сейчас посылали за Сидором Кузмичом.

Воспоминания первоначального детства самые дорогие и самые приятные, к сожалению, они всегда неясны, отрывочны и немногочисленны. Между тем

они чрезвычайно важны: в это время развиваются те или другие наклонности и образуется будущий характер. Все это делается под влиянием семьи и вообще окружающей среды.

По слабости моего сложения родители меня уж слишком берегли и держали меня больше при себе и около дома, а не выпускали на все четыре стороны, как это делается с сельскими ребятами. Из крестьянских детей мы сходились только с теми, которые были в родственных отношениях. От этого у меня образовался тихий «запечный», а не уличный и не смелый характер. Это сказалось прежде всего в играх. Я по природе не особенно любил те игры, которые способствуют развитию силы, смелости и удалства, например: борьбу, чехарду, игру в городки, в лапту, и любил больше собирать растения, цветы, лепить из глины разные фигуры: коров, лошадей.

Село Бельское, или Белая, в Глазовском уезде, в 70 верстах от Глазова, в 150 от Вятки. Сюда батюшка переселился в 1833 году и священствовал до конца своей жизни. Здесь же я оставался до окончания моего образования в семинарии и Академии. Здесь и теперь живут один из моих братьев Алексей Яковлевич и две сестры – Татьяна, в замужестве за священником Александром Павловичем Ергиним, и другая сестра Наталья, оставшаяся девицей.

Матушка моя Екатерина Николаевна была дочь священника села Рождественского Нолинского уезда о.Николая Захарыча Курочкина и супруги его Арины, кажется, Ивановны. О.Николай был замечательной личностью, сколько можно судить по рассказам о нем. Это был тип того старого доброго времени, когда в русской жизни вполне господствовал еще Домострой. По крайней мере, воззрения, правила поведения, порядок в доме и вообще вся жизнь о.Николая невольно напоминают знаменитого его автора – священника Сильвестра. Он именно, т.е. о.Николай, пришел мне на память, когда я в первый раз познакомился с Домостроем и пришел к мысли, что его правила и воззрения еще до сих пор господствуют даже в тех слоях русской жизни, где и не слыхали о нем, как об известном науке памятнике древнего образования и древней письменности, и, конечно, не слыхали об имени его составителя. Не знал, конечно, о нем и о. Николай, и жил по его правилам, потому что это были правила и обычаи старины, дошедшие до него, как и до других, от предков по преданию, и сумел приложить их к своей жизни в возможном размере.

Он построил в селе Рождественском, которое было, кажется, родовым селом, большой каменный двухэтажный дом, походивший на старые боярские дома. Развел при нем фруктовый сад с цветниками. Из

примыкавшего к саду болота устроил порядочный пруд и насадил в нем рыбы. При доме у него было много лошадей, коров и другого скота и птицы разного рода, голубей лучших пород, которых он очень любил.

Бабушка, в свою очередь, имела большие огороды, в которых было множество всяких овощей и ягод; в погребах всегда было много разных медов, шипучек и наливок, в подвалах и чуланах разных вареньев и сушеных ягод.

Семья у дедушки была большая: 4 сына и 7 дочерей: матушка моя была третьей дочерью. Всех их батюшка воспитал и пристроил по тому времени возможно лучшим образом: сыновья все окончили курс в семинарии и были священниками. А дочери выданы замуж также за священников. Как в своей семье, так и вообще в своем духовном кругу дедушка о. Николай пользовался полным уважением. Я видал его несколько раз и в последний раз десятилетним мальчиком. Дом его по сравнению с нашим домом и другими домами казался мне настоящим дворцом.

Из такого дома вышла моя матушка. Она не имела книжного образования. Но она унесла из своего родного дома то доброе, порядливое нравственное и хозяйственное воспитание, под влиянием которого она находилась. И все полученное от отца и матери старалась в возможной степени упрочить в своем доме и своей семье. В свою очередь, ее поведение и правила отразились на нас, детях; все, что есть хорошего в моем характере и характере моих братьев, принадлежит матушке.

Я по своей природе любил слушать сказки, песни и разговоры, пение. Я не помню, почему мне особенно нравилось собирать цветы и растения: наберу их пучок-другой и на ниточке вывешу за окно сушить и постоянно хожу смотреть, как они висят и сохнут. Может быть, я делал в подражание мамаше, которая огородные растения, мяту, копер и др. срезывала и, связав в пучки, вывешивала на солнце для сушки. Во дворе, покрытом зеленой муравой, лежала у забора большая лодка. Мы любили залезать под нее и, приготовив тесто из глины, делали разных птичек, коров, лошадей, барашков и проч. В детских играх, как известно, всего более обнаруживается подражательность, которая так свойственна человеку и с которой обыкновенно начинается всякая деятельность. Дети в играх и вообще во всех занятиях подражают тому, что видят.

На Атарскую колокольню приобрели новый, довольно большой для села колокол. Привоз колокола и особенно процесс его поднимания на колокольню подняли на ноги не только все село, но и весь, можно сказать,

приход. Особенно сильное они произвели впечатление на нас, детей. Мы стали повторять то, что видели, в своих играх или играть в колокола. Под крыльцом отставной избы в нашем доме лежали кирпичи и булыжники. Мы на веревочках поднимали их кверху, привешивали к потолку, представляли их колоколами и таким образом устроили из камней и кирпичей воображаемую колокольню. Мы, как дети священника, чаще бывали в церкви и, видя богослужение, повторяли его дома. Для холодной церкви делали иконостас.

Батюшка мой был рыбак и занимался рыболовством страстно и в больших размерах. Вместе с другими он покупал на реке Вятке известное пространство воды, в которой один имел право ловить рыбу. Применительно к рыболовству расположена была вся жизнь и деятельность в году. С самого начала Великого Поста начиналось приготовление разных снастей и прежде всего уд, больших и маленьких, для шаликов и для уженья. Для этого у батюшки были все нужные орудия, целая, можно сказать, кузница и слесарня. Я любил постоянно сидеть около батюшки и следить, как проволоки рассекались на небольшие части, как они загибались в дугу, подтачивались и из отделенной части выходила уда. Занятие приготовлением уд продолжались до самой Пасхи. После Пасхи занятия из комнаты переходили в огород, где на лужайке из ниток приготавливались, ссучались веревки разной толщины. Потом делались из осокорей поплавки; наконец все это связывалось в одну снасть, так называемые шалики, для лова стерлядей.

Затем приготавливались неводы, наметы, бредни. Всеми этими снастями производилось рыболовство в обширных размерах. Я и теперь живо себе представляю, как однажды, после ночной ловли неводом, утром привезли на двор и вывалили на зеленую траву целых два воза самой крупной разнообразной рыбы, тут были сомы, судаки, лещи, щуки, окуни и др. Это происходил раздел между пайщиками, откупавшими воду на Вятке. Но специальным и любимым занятием батюшки была ловля стерлядей шаликами. Стерлядей в Вятке было много, и налавливали этой рыбы так много, что количество ее далеко превышало насущные потребности нашей семьи. Лишнюю рыбу и крупную сберегали в садках, которые устраивались не только на берегу реки в плавающих ящиках, но и далеко от берега в отдельных срубах. Делались срубы, похожие на амбар с крышей и деревянным полом. В стену сруба проводилась по желобу вода из соседнего ключа, через отверстия в полу вода эта выпускалась и заменялась новой, так что вода в садке была постоянно чистая и свежая, и рыба жить долго могла. Я подолгу любил смотреть, как в разных направлениях плавали крупные аршинные стерляди. Лучших стерлядей часто отсылали в подарок родным и

знакомым, а иногда к некоторым предрержавшим властям, напр. о. благочинному. Остальное за насущным употреблением заготовляли впрок и для этого сушили и вялили; приготовленная таким образом стерлядь могла служить превосходной закуской и заменить балык. Можно представить, какую утрату почувствовала вся семья, когда из такой благодатной в рыбном отношении местности пришлось переселиться в такое село, где не было никакой реки, а только один гнилой пруд. О батюшке и говорить нечего, он долго буквально тосковал по Вятке и тогда только успокоился, когда необходимость заставила позаботиться о постройке дома в новом селе.

Другим после рыболовства занятием в Атарях было пчеловодство. В счастливые годы на пчельнике батюшки число ульев доходило до 150. Пчельник находился не в самом селе, а в деревне у одного богатого мужика, который ближайшим образом и заведывал всеми пчелиными делами и за это получал себе половинную часть меду, который собирался со всех ульев. Несмотря на то, что нам доставалась только половина, меду в хорошие года было так много, что, за всеми домашними употреблениями, оставались излишки, которые приходилось продавать. А в домашнем хозяйстве мед употреблялся постоянно во всех тех случаях, где ныне потребляется сахар, который тогда был еще мало распространен. Кроме разных кушаний для стола, на меду варили варенья, медом заливали разные плоды и фрукты (например, клюкву заливали медом и подавали гостям как десерт, как тогда выражались), пекли разного рода пряники, приготовляли разного рода питье.

Мамаша особенно умела делать мед как определенный напиток. Сваренный с хмелем и разными снадобьями, с кишмишем, корицей, гвоздикой и проч., его разливали в бутылки и зарывали в песок в подвалы. В таком виде мед иногда стоял по два, по три года и получал такую крепость и силу, что у гостя после двух стаканов отнимались ноги и язык. Хозяйке это доставляло великое удовольствие, потому что служило самым наглядным и неопровержимым доказательством ее умения делать превосходный мед.

Время собирания меда из ульев и его учреждения для нас, детей, было самым лучшим праздником в году. По всем комнатам были расставлены кадки с медом, и по всему дому носился приятный запах свежего меду. Учреждали мед в продолжение целого месяца. Сначала отделяли лучшие крупные соты для сбережения впрок, для того чтобы в праздники ставить на стол гостям как десерт или послать в подарок уважаемым знакомым и родным. Потом, отложив несколько для обычного домашнего употребления, остальные соты сваливали в кучу для перепускания. Перепускание и приготовление жидкого меду без воску происходило таким образом. В

корыто на положенные поперек его мостки постилали соломой, и на эту соломой клали соты и поливали их немного водой. Сквозь соломой мед стекал вниз в корыто, и выходил настоящий мед, очищенный от воска, большая часть которого пускалась в продажу. Комната, где происходила эта операция, нас особенно привлекала к себе, и мы всячески старались пробраться туда. При этом нам доставались разные подачки, но за эти сладкие подачки приходилось расплачиваться горькими слезами. Какая-нибудь сердитая пчела, освободившаяся от сотов, которыми она была придавлена, мстила тунеядцам за расхищение своих трудов, и кому-нибудь из нас долго приходилось ходить с распухшим носом, а иногда и всей физиономией.

Заметную черту в хозяйстве батюшки составляла еще обработка хмеля. В капустном огороде был порядочный хмельник, из которого собиралось такое количество хмеля, что его не только хватало для домашнего употребления, но оставалось для продажи. Я любил заниматься обрыванием хмелевых шишек, но у меня при этом разбалывалась голова, потому что при этом от шишек отделялся одуряющий запах.

Вот и все, что сохранилось в моей памяти о моем первоначальном детстве в Атарах. Несмотря на простоту обстановки и малосодержательность этой жизни, я всегда любил и особенно на старости лет люблю переноситься в это время. Судьба не позволила мне быть потом в Атарах ни однажды, но как часто и сильно мне хотелось взглянуть на старое село, старую церковь, старый дом, на все те места, которые остались у меня в памяти и о которых я упомянул выше.

Из Атар мы уехали в 1833 г., когда мне было 10 лет. Со временем переселения из Атар в Белую совпадает начало моего школьного учения. Проезжая в Белую через Нолинск, где находилось Духовное училище (в Глазове, к уезду которого принадлежала Белая, училища тогда еще не было), батюшка представил меня ректору этого училища о. протоирею Иоанну Павловичу Орлову. Ректор спросил что-то, немного заставил почитать и записал во второй класс. Это было в первых числах сентября 1833 г. Так как в это время меня мучила лихорадка, то батюшка просил ректора отпустить меня пожить дома еще до Рождества. Заметив, что в прошение вложена пятирублевая синяя ассигнация, он охотно согласился. И вот я со всеми членами семьи отправился на новое место жительства.

Странно, что у меня не сохранилось в памяти ничего о том, когда и как я научился читать и писать, смутно припоминаю только, что меня зачем-то посылали к дьячку, жившему за церковью. Это был, вероятно, один из тех мастеров, о которых говорится в Стоглаве. В таком случае мне, очевидно,

привелось в начале моего учения вкусить от часословной и псалтырной мудрости, но это едва ли было долго и много. У батюшки, сколько можно судить по способу обучения других братьев, был другой метод. Другие братья учились просто, не присаживаясь за стол с книжкой и указкой, а походя и самоучкой. Покажет батюшка буквы азбуки, как их различать и складывать в слова, и заставит самих упражняться, и братья выучивались сами. Так, вероятно, было и со мной, по крайней мере, батюшка так меня учил русской грамматике, когда мы приехали в Белую и когда я, как записанный во второй класс, где начинали учить русской грамматике, должен был ее изучать походя, без всякой книги, можно сказать, по пальцам. Сначала он на словах объяснял мне, что все предметы и слова трех родов, и показал, как надобно различать роды; если к слову прилагается местоимение «сей», значит слово мужского рода, если «сия», – женского, если «сие» – среднего. Потом показывал, сколько склонений и как нужно склонять по падежам, как различать падежи при вопросе: – кто? и что? будет именительный падеж; при вопросе – кого? или чего? будет родительный, – кому? или чему? дательный и т.д. После таких предварительных объяснений начиналось практическое упражнение в грамматике, которое происходило совершенно неправильно, а урывками и походя. Придет батюшка из прихода, озябнет и залезет погреться на полати и позовет меня упражняться в грамматике.

«Ну, Ванюша, скажи ты мне, какого рода будет потолок? Сей потолок или сия потолок? – Сей потолок, – значит, мужского рода. – А печь какого рода? Сей печь или сия печь? – Сия печь... значит, женского рода. А окно, какого рода? Сей окно или сие окно? – Сие окно – значит, среднего рода».

Потом шли также практические упражнения в склонениях и спряжениях. Выбирались образцы для первого, второго и третьего склонений и по этим образцам склонялись другие слова. При спряжении глаголов поступали также по прежде выбранным образцам. Для того чтобы научить писать, такие упражнения в склонениях и спряжениях делались на бумаге, или письме. Несмотря на всю простоту этого способа изучения этимологической части грамматики, он выходил очень удачным. Когда я поступил во второй класс училища, то оказался знающим этимологию не хуже других, скоро занял место в первом десятке, а перешел в третий класс в числе первых учеников, именно вторым или третьим. После Рождества батюшка отвез меня в Нолинское училище и поместил на квартиру у учителя третьего класса священника о. Кирилла (фамилии не помню); это потому что здесь, на квартире стоял уже дядя мой Михаил Николаевич Завойский, который учился в четвертом классе, ему батюшка поручил меня в руководство. Квартира у о. Кирилла была казенная и маленькая, так что из комнат, за

недостатком помещения, скоро нас выгнали в кухню, где мы и спали и вечером учили уроки.

Сам о.Кирилл мало принес нам пользы, потому что никогда с нами не занимался. Это был добрый и веселый человек и любил подвыпить. В состоянии подвыпития он иногда приходил к нам побалагурить и начинал дразнить нас или поучать всячески, что, дескать, вот такой-то учитель на вас уже давно сердит и до вас давно добирается. Особенно он нападал на меня, так как заметил, что я был далеко не храброго десятка. Узнав об этом, а может быть, и еще по чему-нибудь другому, батюшка перевел меня на другую квартиру к мещанину Половникову, у которого была на базаре бакалейная лавка.

Сам Половников был больной человек и скоро умер; в доме всем хозяйством и торговым делом заведывала жена его Марья Семеновна, а в лавке сидел постоянно хромой дедушка Никита Никифорович (фамилии не помню), из отставных солдат. Марию Семеновну я до сих пор не могу забыть, это была совершенно простая женщина, не умевшая ни читать, ни писать, но необыкновенно добрая, меня с братьями и других учеников она держала как родных своих детей и старалась сделать для нас во всех случаях все, что знала и умела. Кормила нас отлично, постоянно пекла пироги, и пироги эти были обломовского размера, так что старый пирог почти всегда доживал до нового: мука, масло, крупа и все другие материалы были свои, из своей лавки. Одно было нехорошо: в доме у нас зимой постоянно происходило литье сальных свеч для продажи, от растопленного сала запах был чрезвычайно тяжелый, особенно для меня; у меня с детства нервы были слабые и чувствительные.

Квартира Марии Семеновны приобрела такую добрую репутацию, что училищное начальство рекомендовало ее родителям всех вновь поступивших в училище учеников, но Марья Семеновна, кроме нас – братьев и еще учеников Поповых, детей Сунского благочинного, никого не хотела брать. Она была богата и держала учеников не из денежного интереса, а потому, что без них, как говорила она, было бы скучно. Впрочем, у нее было своих двое детей: сын и дочь. От них она не отличала нас, во время болезни сама ухаживала за нами, в каких-нибудь неудачных и несчастных случаях утешала нас, советовала, как умела. Старичок дедушка Никита Никифорович был тоже очень добрый. Прослужив 25 лет в военной службе и получив в какой-то войне контузию в ногу, что делало его хромым, он вышел в отставку и жил у Марии Семеновны на покое, исполняя должность приказчика в лавке, в которой и просиживал с утра до вечера. Вследствие болезни ноги, которая его сильно мучила, у него развилось сильное религиозное

настроение, он по целым часам молился Богу на коленях. Нас, детей, он любил, останавливал от всяких глупостей и шалостей и вообще учил всему доброму. Несмотря на некоторую сухость и строгость, мы его любили и всегда его слушались. На квартире у Марьи Семеновны я жил во все время учения в Нолинском училище. И впоследствии, когда я проезжал через Нолинск из Казани в Белую, будучи студентом Академии, а потом и преподавателем, я всегда заходил к Марье Семеновне повидаться, а большею частью останавливался у нее на квартире, предпочитая ее всем другим квартирам, какие мне предлагали нолинские знакомые. И она всегда принимала меня как родного сына, как только приеду, тотчас истопит для меня баню, а потом приготовит такой обед, что после него едва жив останешься. По ее понятиям, это был лучший прием гостеприимства, ведущий свое начало еще от эпического и сказочного периода.

Нолинское училище было хорошее училище, по крайней мере, не хуже других, хотя оно и по количеству учеников было меньше других. Начальниками его во время моего учения были ректор о. Иоанн Павлович Орлов и инспектор о. Павел Гаврилович Беляев. Они были и лучшими, более выдававшимися лицами в составе училищной интеллигенции. Ректор был человек представительный, невысокий ростом, но красивый лицом, он держал себя чрезвычайно гонорабельно. Член Духовного правления, благочинный и начальник училища, он был в своем окружении настоящим архиереем и вел себя со всеми возможными для него архиерейскими замашками. Это сказывалось и в его церковном служении, и в управлении училищем, и в разных сношениях с людьми. В соборе он служил только по праздникам, служил тихо, чинно и с важностью; хорошие певчие и хороший голосистый дьякон, похожий на протодьякона, составляли необходимую принадлежность его служения. В училище он приходил нечасто, но зато когда приходил, то всем было видно, что это начальник, которому никто не осмеливался противоречить. Впечатление от каждого его посещения оставалось надолго.

С учениками он держал себя довольно далеко, а с учителями довольно высоко. Но вся важность и великательность его обнаруживалась в училище на публичных экзаменах. Публичные экзамены в это время, как в семинариях, так и в училищах, устраивались со средневековой помпой. В Нолинском училище за неделю до экзамена начинались приготовления: все училище отправлялось за город в поля и в леса собирать травы и цветы. Этими травами и цветами украшались стены и окна экзаменационного зала. Перед столом из цветов делался ковер, с потолка залы из тех же цветов спускались большие люстры. На экзамены через вычурные билеты приглашалась вся светская и духовная нолинская знаменитость. Во время экзамена пелись

концерты, играл оркестр музыки. Самые экзамены были мало интересны: это была выставка казовых концов^б по каждому отделу училищного преподавания. Главное было во внешней обстановке, которая сообщала экзамену частью праздничный, частью театральный характер. Перед началом один из учеников говорил приветственную речь (не свою, разумеется), а по окончании другой ученик говорил речь благодарственную. Затем следовало очаковское «Тебе, Бога, хвалим», во время которого ученикам раздавали награды. Заканчивалось все представление пением какого-нибудь концерта и нескольких кантов с оркестром музыки «времен очаковских и покоренья Крыма». Любимым кантом был известный исторический кант, составленный Державиным для праздника, данного Потемкиным императрице Екатерине II в Таврическом дворце:

Гром победы, раздавайся,
Веселися, храбрый Росс,
Звучной славой украшайся,
Магомета ты потряс.⁷

В именины свои (26 окт.) ректор также устраивал торжественный праздник, который продолжался иногда по три дня. В первый день давался общий обед для всех именитых лиц города; во второй день праздновали специально учителя училища, в третий день было попразднество. Во все эти три дня, разумеется, уроков в училище не было. В первый день после торжественной обедни в соборе было представление всего училища учителей и учеников по два или три от каждого класса. При этом ректору подносился хлеб и говорились разные речи. В благодарность за это ректор ученикам на другой день посылал гостинцев. В один класс собирали всех учеников и приносилось несколько кульков с пряниками, орехами, яблоками, подле стола, на котором все это раскладывалось, стояли два учителя. Один из них по спискам вызывал к столу каждого ученика. Ученик подходил и подставлял свою шапку, в которую другой учитель клал по пригоршням всех гостинцев – пряников, орехов и др. Эти гостинцы доставляли ученикам великую радость и удовольствие, но рады были и торговцы, у которых забирали эти гостинцы, этим путем они надолго очищали свои лавки от всякой залежавшейся дряни.

При училище рядом с собором был сад, который отделял училище от собора. Сад был очень запущен, ректор вздумал его поправлять и для этого воспользовался обычаем давать ученикам в мае месяце известные рекреации. В эти рекреации до обеда ученики работали в саду. И действительно, под руководством одного или двух учителей, ученики с 8 до 2-х часов копали канавы, садили растения и поливали их, чистили дорожки и

проч. Таким образом, в один месяц сад значительно исправился без посторонних наемных рук, что было очень важно, потому что нанимать чужие руки было не на что. Я сказал, что с учениками ректор держал себя довольно далеко, но это требует ограничения. С лучшими учениками он обходился приветливо, лично ко мне он был очень добр и благосклонен. Он приглашал меня иногда в праздники к себе, поил чаем и брал с собою, вместе со своими детьми на прогулку. Когда он служил в Соборе, то всегда заставлял меня за всеобщей читать шестопсалмие и кафизмы, а за обедней – часы. За это после всеобщей мне доставался благословенный хлебец, а после и просфора. Говорили тогда, что я читал хорошо: ясно и отдельно и в то же время скоро. Совершенною противоположностью ректору составлял инспектор, о. Павел Гаврилович Беляев. Как первый отличался важностью, так последний необыкновенной простотою. Как инспектор, он был необыкновенно терпеливый и снисходительный к ученикам, за что его, разумеется, очень любили. Как учитель, он отлично преподавал латинский язык. Находя меня способным учеником, он обратил на меня особенное внимание и при всяком случае указывал и объяснял все, что было нужно. Всем знанием латинского языка я ему обязан. Из других учителей у меня остался в памяти только один учитель латинского языка в классе, И.Е. Попов, других не помню, вероятно, они ничем особенным не отличались. Учение и училищная жизнь шли обыкновенным порядком, как во всех духовных училищах в 30-х и 40-х годах (поэтому не нахожу нужным говорить о них.). За все время моего учения был только один замечательный факт: посещение училища Преосвященным Нилом. Это тот самый Нил, который был потом в Иркутске и Ярославле, знаток монгольского языка и буддизма⁸. На Вятке до сих пор ходит много рассказов о его гордом и крутом нраве, наводившем ужас на всю епархию. Приведу здесь один или два.

На Вятке, как и в других местах, день пророка Илии считается великим праздником, и богослужение совершается, как и в Господние и Богородичные праздники. Не спросив Владыки, начали звонить ко всеобщей по-праздничному. Страшно рассердился Владыка, призвал и разбил соборного протоирея, указав на то, что в Уставе положено полиелейное служение, велел немедленно прекратить праздничный звон. Но случись, как нарочно, в ночь страшная гроза со страшным громом и молнией, и перепуганный Владыка выбежал из спальни в крестовую церковь и начал молиться, а на другой день сам служил Илие Пророку вполне по-праздничному.

Другой рассказ. Служил он в Стефановской церкви, и после службы заметил, что стекла в алтаре очень темны. «Ты что, не промываешь стекла?», – спросил он стефановского дьякона. Бойкий дьякон отвечал: «Стекла,

Владыка, почернели от времени и не промываются». «А ну-ка, дай мне мокрую губку!» И, проведя губкой несколько раз по стеклам, он выжал на лысину дьякона всю грязь, какую напиталась губка. И понятно, что, наслышавшись таких рассказов о крутости нрава Преосвященного Нила, в Нолинске, как и везде, ждали его со страхом и трепетом. В училище предположено было встретить его речами в каждом классе и прежде всего, в четвертом, как старшем классе, речью на греческом языке. Речь назначено было говорить мне, и я после обычного приветствия, пропетого всем классом, вышел на середину и начал, но он с гневом закричал «Не нужно, не нужно! Я вот спрошу тебя, знаешь ли ты греческую грамматику?» Я, ни жив, ни мертв, ушел и встал за первую парту в среднем классе, где мне назначено было встать для произнесения речи. Между тем Владыка стал спрашивать учеников по-гречески. Испуганные его гневом ученики отвечали плохо. Я хорошо сделал, что не пошел на свое место кверху, на первой парте. Я успел немного прийти в себя, и, когда пришла очередь до меня, то мог ответить еще порядочно. Заметив одну ошибку, он сказал: «Вот то-то, лучше бы учить грамматику, чем браться не за свое дело». Это замечание относилось не ко мне, разумеется, а к училищному начальству, которое было так перепугано, что ничего не могло сказать.

Во время переселения из Атар в Белую, кажется, ничего особенного не случилось. По крайней мере, у меня в памяти ничего не осталось. По приезде в Белую мы остановились в казенном доме, поступившем в введение церкви после предшественника батюшки, умершего благочинного о. Феодора. Дом этот, давно не поправлявшийся и страшно запущенный, оказался чрезвычайно неудобным для нашей семьи, в которой было детей пять человек. Половина этого дома (зал и прихожая) зимой была совершенно необитаема, потому что в ней не было ни одной печи. На зиму она от другой половины совершенно отделялась крепко закупоренными дверями и служила обыкновенно чуланом, в котором держали то, чего нельзя было держать в комнатах. Странно было видеть на месте дивана и кресел лотки с медом, кадки, горшки с маслом и пр. Другая половина, состоявшая из двух небольших комнат и кухни, была чрезвычайно холодна: рассказывали, что зимой в сильные морозы в кухне вода покрывалась льдом. Единственное спасение было на печи и на полатах, где и пребывали дети большую часть дня. В комнатах стены и потолки, в былое время вместо штукатурки были затянуты толстым холстом и выбелены мелом и известкой. Сначала, может быть, было и хорошо, но потом от времени холстяная обшивка отстала от стен, и по всему потолку и по стенам образовались кошело, сделавшиеся жилищем для мышей. Мышей и разной живности в них развелось так много и по ночам поднималась такая сильная возня, что совсем нельзя было спать.

Моему детскому живому воображению за обоями представлялось особое царство разного рода враждебных существ, и оно создавало в темноте ночи страшные картины. После обширного и удобного атарского дома жизнь в таком помещении была для всех чрезвычайно тяжела и невыносима. Между тем, другой квартиры найти было нельзя: в селе этом жили только духовные лица, и у всех был свои собственные дома, в которых они жили сами, крестьян и других людей, другого звания, не было. Это заставило батюшку позаботиться о заведении своего дома, на строение которого и были употреблены первые три года жизни в Белой. Построить новый дом на новом месте, конечно, было нелегко, но и не так трудно, как могло представиться с самого начала.

Глазовская сторона была сторона лесная, прекрасный строевой лес находился тогда не дальше, как верст десять от Бельского села. Стоило только у лесного начальства выправить билет на вырубку известного количества деревьев, а вырубить их и вывезти в село из леса можно было посредством крестьянской помочи. До 60-х годов крестьянские помочи играли важную роль в хозяйстве. Ими исполнялись не только разные хозяйственные дела, но даже и строились дома. Они издавна выросли и развились на почве крепостного права, когда не только помещики, но люди всякого привилегированного сословия, перенимавшие обычаи у помещиков, делали все крестьянскими руками. В настоящем случае крестьянская помочь состояла в следующем. Батюшка объездил несколько деревень своего прихода и просил более сильных и богатых лошадьми мужиков, сговорившись между собою, дома по два, по три, вырубить в указанном лесу по бревнышку и привезти в село. Для привозки бревен в начале зимы, по первому пути, назначался определенный день. К этому дню приготавливалось для помочи угощение: пеклись пироги, варилась каша, делалась яичница, жарилась баранина, покупалось ведро вина, приготавливалось несколько ведер пива. Этим угощением, продолжавшимся целый день, вместо всякой другой платы, и платили мужикам за их труд, за вывозку и привозку бревен. Это было, разумеется, чрезвычайно выгодно, не дороже полтинника обходилось такое бревно, которое при обыкновенной покупке стоило от 3-х до 5 рублей. Таким путем, посредством крестьянских помочей, был заготовлен в первый год лес для постройки дома, самая постройка происходила в следующие два года.

Другие два священника – о.Всеволод Романов и о.Иоанн Лопатин, товарищи батюшки по семинарии, поселились на Белой уже около 10 лет и давно построили свои дома. Впрочем, батюшка и сам знал толк в стройке, он во все вникал, сам за всем следил, всем руководил и построил отличный дом, большой, прочный и удобный для житья. В нем было 6 комнат: зал, гостиная,

кабинет, прихожая, столовая, детская – и рядом с ним изба, или белая кухня. Кроме того, в нижнем этаже по одну сторону были также белая кухня и рядом с нею одна комната. Впрочем, и было, кому поместиться в таком доме: одних сыновей у батюшки было 6 человек, да две дочери, это те, которые остались в живых, а сколько было маленьких умиравших. Дом был готов к осени 1835 года. Надобно сказать, что батюшка любил во всем крепость и прочность, он выше всего ценил это качество в обуви, при покупке сапогов и башмаков, в платье, чтобы оно было из крепкой материи и крепко сшито, в посуде, в мебели и проч. Но особенно и постоянно он имел в виду крепость и прочность при устройении дома, как в материалах, так и в работе. Дом, действительно, и вышел такой крепкий и прочный, что спустя 30 лет батюшка говорил мне, что не привелось в течение этого времени ничего поправлять или переделывать, даже ни одной петли, крючка или гвоздя нового не потребовалось, так все устроено было крепко и из таких хороших и прочных материалов.

Батюшка не презирал, конечно, чистоты, красоты и изящных украшений. Но не гнался за ними и не предпочитал их прочности и основательности. Этот вкус развивался, разумеется, характером и складом той среды, из которой батюшка вышел. Среда эта, как я уже заметил, была крестьянская, хотя умная, добрая, но все-таки простая, хотя получившая образование, но все же сохранившая простые вкусы и привычки. Совсем другим вкусом, можно сказать, противоположным вкусом, отличалась матушка. Она любила, чтобы все было хорошо, чисто и красиво. Она взята была из богатого, можно сказать, аристократического дома, который, как показано, был устроен на широкую барскую или помещичью ногу. Когда в детстве я бывал у дедушки, меня всегда поражало множество таких вещей, каких у нас не было: большие резные киоты с серебряными, позолоченными иконами, большие часы в богатом футляре с педальным заводом и боем четвертей и секунд, широкие и красивые половики, алебастровые медальоны знаменитых духовных и светских лиц на стенах и на окнах и проч. У нас в доме не было никаких подобных вещей. Но матушка, любившая изящество, старалась, чтобы все было чисто и красиво, любила украшения, картины, цветы и проч. Она убедила батюшку съездить в Вятку и купить к новоселью новой мебели, новые зеркала, половики и других, нужных для дома вещей. И он съездил и купил. На радостях, что ему привелось окончить большой и хороший дом, он так раскутился, как нельзя было ожидать, судя по его постоянному девизу: «простота и умеренность во всем».

Будучи в Нолинске, он увидел в лавке Филиппова орган и вздумал купить его для своего нового дома, и хотя просили довольно дорого, именно 120 руб. ассигнациями, но он все-таки купил его, желая сделать сюрприз матушке,

которая любила музыку. Орган оказался очень хорошим, в нем было два вала, на каждом валу по 12 пьес, на одном духовные пьесы, напр., «Херувимская», «Царю небесный», «Достойно есть» и др. На другом светские: кадрили, вальсы и отрывки из разных опер. Новоселье было устроено на широкую ногу, созвано было все село и пировали целый день. Орган скрасил весь праздник. На нем играли и во время обеда и во время чаепития и вечерних угощений. Кроме приглашенных, на двор собралось множество народа послушать музыку, заходили и в комнаты посмотреть инструмент. Орган оказался и впоследствии весьма полезным, в нашей закупоренной домашней жизни, орудием. Он сделался заменой, суррогатом тех развлечений и удовольствий, которых у нас не было. Когда были помочи по случаю каких-нибудь работ, играли на органе для крестьян, они любили слушать и после охотнее приходили на помочи. Слушая игру, некоторые начинали плясать и часто невпопад, когда играли не светскую, а духовную музыку. Когда приходили гости по вечерам, также играли на органе вместо разговоров, которые вести иногда было чрезвычайно трудно, и вечера проходили незаметно и приятно. Сами мы, разумеется, играли постоянно. Музыка развивала слух и вкус и удовлетворяла эстетическим потребностям. Где теперь находится этот дорогой друг и товарищ, и спутник нашей юности, доставлявший нам столько удовольствий и утешений в часы радости и веселья и в часы унынья? В 1859 г., когда я в последний раз приезжал из Казани в Белую, он еще стоял на своем месте в гостиной, но и тогда его организм был сильно расстроен. Он сильно хрипел и свистел. Может быть, еще можно было исправить его внутренность, но негде было достать нужного для этого медика. И теперь он валяется где-нибудь в чулане наряду со всякой отжившей свой век рухлядью. Все это рассказываю со слов матушки. Сам я не был на новоселье, которое было осенью 1835 г., когда я учился в 4-ом классе Нолинского училища, я увидел дом уже летом, когда приехал на каникулы. Он произвел на меня такое сильное впечатление, что я несколько дней ходил по комнатам, рассматривая каждую вещь и спрашивая у матушки разъяснений.

Жизнь батюшки и всей семьи в Белой должна была получить другое направление и другой характер, чем в Атарах. В Атарах деятельность, главным образом, приучена была к воде, к рыбной ловле на реке Вятке, в Белой, напротив, все интересы сосредотачивались около земли. Все духовенство Бельское занималось хлебопашеством, от казны было передано земли на каждый приход по 30-ти, кажется, десятин, а потому земля эта была черноземная и весьма плодородная, так что снять рожь, и овес особенно, было весьма выгодно. Обработка полей обходилась недорого, потому что производилась посредством крестьянских помочей: для косьбы лугов, для жнитва ржи, овса, ячменя приглашали в один день, большею

частью в какой-нибудь праздничный день или в воскресенье, те или другие деревни, платили косцам или жницам опять не деньгами, а указанным выше угощением. Хлебопашеством занялся и батюшка, тем более что оно могло быть большим подспорьем к содержанию семьи, которая год от года требовала больших средств. При хлебопашестве нужно было держать скот, и матушка завела птиц разного рода: индеек, гусей, уток и кур. Так что года через три устроилось очень порядочное сельское хозяйство.

Батюшку можно было назвать настоящим сельским хозяином. Он знал всякую штуку, нужную в хозяйстве. Он умел склеить расшатавшийся стол, вставить в раму стекло, выкрасить краской стены и крышу дома, как это и сделал на своем доме, разложить и сложить, одним словом, поправить стенные часы, исправить замок, починить порвавшийся лошадиный хомут и шлею. Для всех этих работ у него всегда были в запасе нужные материалы и инструменты. Это было необходимо, потому что село наше далеко находилось от города (на 70 верст) и в нужном каком, хоть и немудреном деле, нельзя было найти нигде никакого мастера. Сельскому хозяину в наших местностях нужно самому быть и кузнецом, и слесарем, и плотником, и печником. Батюшка был чрезвычайно трудолюбивым, что называется, заботлив в доме, ночь не уснет, если на другой день предстоит какое-нибудь срочное дело. Он вставал летом в 4-5 часов, а зимою в 5-6, и прежде осматривал все хозяйство: кормил скот, лошадей, коров и птиц, потом отправлялся зимой на гумно, а летом в поле или в луга, где производилась та или иная работа, иногда ездил в деревню, так что часто, когда мы только еще вставали и готовились пить чай, он успевал везде побывать и съездить в деревню верст за десять. Он успел располагать временем и делами так, что одно дело не сталкивалось с другим и не мешало другому, а все делалось в порядке и в свое время. К такому трудолюбию, аккуратности и порядку он старался приучить и нас. Нас, разумеется, не заставляли ни жать, ни косить, но когда были косьба или жнитво, нас посылали смотреть за рабочими, а также поручали и другие легкие дела.

Несмотря на большое хозяйство, прислуги не держали: не говоря о горничной, часто не было даже няни, хотя постоянно были маленькие дети. Кухарка была всегда, но она могла только печь хлеб, варить квас и ходить за скотом; готовить кушанья к столу и другие дела делать должна была сама матушка. Сестры были еще малы и не могли помогать ей. И вот во время каникул, когда мы приезжали из училища и семинарии, нас заставляли помогать. Каждому из нас было назначено определенное дело: один из братьев должен был каждый день убирать постели и мести пол, другой смотреть за маленькими детьми, когда матушка уходила на кухню, третий на кухне помогать мамаше в ее кухонных приготовлениях, набирать

потом на стол к обеду и убирать с него. Кроме того, одному поручалось сверх того поливать в огороде огурцы, капусту и другие овощи, другому кормить куриц и других птиц и проч. Мне, как старшему, отдельно не назначалось какого-нибудь дела, а поручался общий присмотр за всеми братьями. Впрочем, было у меня и специальное дело; батюшка поручал мне во время каникул испытывать младших братьев в разных грамматиках и историях, и если окажутся в чем-нибудь слабы, то поучить их, исправить недостатки и заделать пробелы. Батюшка требовал, чтобы мы не только переходили из класса в класс, чем довольствовались большею частью отцы, но чтобы учились хорошо. Для достижения этой цели он не употреблял ни угроз, ни тем более каких-либо наказаний, а действовал словом и убеждением и частым рассуждением о необходимости и пользе учиться. И мы все учились хорошо. Любя порядок и аккуратность, батюшка требовал их и от нас. Каждый должен был делать все для себя сам: чистить платье, сапоги и проч. В детской комнате по всей длине стены, заменявшей, можно сказать, гардеробы, которых у нас не было, было наколочено много гвоздей, и каждому из нас указано было место, где он должен был вешать полотенце, платье, шапку или картуз. Каждый должен был смотреть за своими вещами, а не разбрасывать их, где попало.

Хозяйство матушки в Белой получило также большие размеры, чем Атарах. В Атарах никогда не держали столько скота: лошадей, коров, овец (свиней не любили) и птиц, как в Белой. Половина скота кормилось для продажи. В Атарах не было полотняной фабрики, какую матушка завела в Белой. Из своего льна, на своих домашних станках она приготавливала множество полотна и так называемой клетчатой и полосатой пестряди. Из клетчатой пестряди шили нам всем рубашки для постоянного употребления; для праздников, для выходных случаев шили ситцевые и коленкоровые; из полосатой пестряди шили панталоны и халаты. Кроме того, из обрезков старого платья шили половики для домашнего употребления. Не знаю, кому в голову пришла мысль, во всяком случае, она довольно оригинальна. Нарезывали таких полосок из старых ситцевых и пестрядинных рубашек, старых платьев, сюртуков и панталон, и затыкали ими натянутую основу на станке. Выходили свертки пестрой материи разной длины и в аршин ширины; разрезав эту материю на несколько полос, делали из них половики. Половики выходили оригинальные. Чисто мозаичного вида, не имея никакого рисунка, заключали в себя полосы всевозможных цветов. Такими половиками были устланы все полы в нашем доме: мягко и тепло, дешево и прилично. В других местах я не встречал ничего подобного. Половики такие делали квадратные, по мерке всего пола в комнате и покрывали сплошь весь пол. Зимой это было особенно хорошо, тепло, и ходить бывало по таким половикам – утешение.

Домашнее воспитание наше было простое, сельское, не суровое, но и не нежное, без всяких излишеств, но и без лишений и недостатка. Рубашки и халаты, я заметил, нам шили из домашней пестряди, но эта пестрядь была чистая и тонкая, лучше покупной сарпинки. Сюртучки нам шили из нанки и казинета. У батюшки во многих отношениях были излюбленные вещи, раз заметив в них хорошую сторону, он других в том же роде уже знать не хотел. Как между винами он выше всех считал винцо-тенериф⁹, так между материями для платья лучше всякой материи находил казинет.¹⁰ Из казинета шили себе рясы и подрясники, из казинета шили сюртуки, казинетом крыли для нас овчинные тулупы. Это, действительно, была самая подходящая материя, видом она походила на сукно и была плотная и ноская, цветом серая, немаркая, по цене недорогая, кажется, полтинник – аршин. Но какими бы достоинствами не отличался казинет, от постоянного употребления он так нам надоел, что желали сменить его на другую, хотя бы и худшую материю.

Все платье для нас шили сначала, до семинарии, не городские портные, а бродячие сельские швецы. По всей Вятской губернии прежде ходило много странствующих портных. Обошьет все село такой портной и переходит в другое, обошьет другое, перебирается в третье. Из таких портных бродил по глазовскому уезду портной Михей, и между другими селами обшивал и Бельское село и наш дом. Портной этот, несомненно, был сродни Тришке г-жи Простаковой. «Прокрой» у него был самый первобытный или, лучше сказать, не было никакого покроя, но Михей нравился батюшке, во-первых, потому что шил крепко, во-вторых, брал за шитье недорого. Это был человек простоватый, но веселый, постоянно пел за работой и по воскресеньям и в праздники напивался пьян, однако же так, что на другой день после обеда способен был работать. Этого Михея батюшка приглашал на июль и август месяц, и он обшивал нас всех. Помню, как однажды, одев нас всех в новые казинетовые сюртуки, привели нас к батюшке. Батюшка, поворотив нас на все стороны, сказал: «Мешковато, да обносится, обомнется». Батюшка, конечно, не знал Шекспира, но его замечание напоминает известную шекспировскую фразу: «Новое платье хорошо сидит только, пообносившись». Городские портные стали нам платье шить только тогда, когда мы учились в семинарии. Первый суконный сюртук мне сшили, когда я поступил в риторику, а первую шинель – уже в богословском классе. Калош я не носил до философского класса.

Спали мы дома не в кроватках, которых не было, а все вместе на полу вповалку: расстелят огромный войлок от одной стены комнаты до другой, положат подушки по числу голов, которые должны покоиться, огромное

овчинное одеяло (зимой) или ваточное (летом) – и постель готова. Спать в общей компании (6 человек), нам нравилось, ночью было нестрашно самым трусливым, (напр., брату Алексею), а вечером перед сном удобно и приятно было разговаривать или сказывать сказки. Батюшка требовал, чтобы ложились раньше и не сидели дольше 10 часов. Утром спать позволялось сколько угодно, но кто проснулся, тот должен был вставать тотчас же. Валяться на постели не позволялось, иначе батюшка, заметив не спящего и не встающего, сам поднимал его, иногда сдергивал с него одеяло, и тот должен был встать. Вставши, каждый должен был одеться, умыться и, помолившись Богу, вычистить свое платье, сапоги и проч. Потягиваться, почесываться или шататься из угла в угол без всякой цели и особенно в растрепанном виде не позволялось. В наше время такие требования могут показаться слишком строгими или же мелочными, но они совершенно разумны и имеют глубокое практическое основание: исполнение или неисполнение их резко потом отражается в жизни человека на его здоровье, привычках и даже на нравственном характере.

Нравственное воспитание дома совершалось также самым простым образом. Как книжное учение происходило походя и урывками, так походя же и урывками преподавались и те уроки, которые должны были дать и руководство для жизни и образовать нравственный характер. Ни батюшка, ни матушка не руководствовались, разумеется, никакою педагогической теорией, не задавались никаким идеалом. Быть добрым и честным, говорить всегда правду, никого не обижать, но всем делать добро и помогать – вот и весь кодекс нравственной мудрости. Правила этого кодекса объяснялись практически на самой жизни и ее примерах. По случаю какой-нибудь нехорошей шалости или прямо дурного поступка того или другого из братьев, или по случаю рассказа о чьих-нибудь добрых или дурных поступках, резко выдававшихся, старались разобрать перед нами эти поступки, объяснить их хорошую или дурную сторону, показать всю пользу или весь вред для себя и для других, и подобные рассуждения действовали несравненно сильнее всяких отвлеченных идей, правил, потому что здесь доказательством истинности служит стоящий налицо перед глазами неотразимый факт жизни.

Здесь уместно будет остановиться на том особом отпечатке или же тех особых чертах нравственного характера, которые многие замечают на нашей семье: это какая-то нелюдимость или необщительность, удаление от общества и нежелание сходиться с людьми и вместе с тем слишком идеальные, непрактичные воззрения на жизнь и требования от людей; отпечаток, который образовался издавна и переходит из одного поколения к другому. Я много раз слышал, как еще матушку и батюшку упрекали в

нелюдимости и даже гордости, указывая на то, что они живут дома, ни с кем не хотят знаться. Но такое поведение зависело совсем не от гордости, а от того, что их жизнь сложилась так, что им нужно было сидеть больше дома. У батюшки всегда так было много дела, что некогда было и ходить по гостям, а у матушки всегда были маленькие дети, которых оставить было нельзя.

Батюшка был человек трезвый и не любил никаких попоек, матушка чрезвычайно скромная, не любила никаких лишних разговоров, пересудов и сплетен, а этим обыкновенно и занимались в том обществе, в котором приходилось жить, они не могли находить в нем удовольствия, оно им было не по характеру и не по вкусу. Поэтому, начинавшиеся нередко знакомства скоро или оканчивались или останавливались на редких, в необходимых только случаях сношениях.

В Белой другие два священника были товарищи батюшки по семинарии, жены также по летам были сверстницы матушки, следовательно, могли бы завязаться с этими двумя семействами самые тесные отношения. Другие духовные лица в Белой, особенно дьяконы П.И.Сергеев и И.К.Шкляев и их жены приняли батюшку и матушку весьма радушно и желали ближе познакомиться. Сначала, действительно, и познакомились. Они ходили к нам довольно часто, хотя не так часто ходили к ним и батюшка с матушкой. Но не прошло и года, как все изменилось. Батюшка, занявшись строением дома и новым хозяйством, совершенно не находил времени, чтобы ходить к другим и поддерживать знакомство, а у матушки еще прибыло маленьких детей, которые связывали по рукам и ногам. К тому же не было никакого сходства в понятиях, вкусах и во всех интересах, что могло связывать их между собой. Матушка была воспитана, как я уже заметил, в домостроевской семье и свою семью старалась держать в таком же порядке, а бельские духовные дамы жили совершенно по простоте и старине чуть ли еще не языческой эпохи. Вот, например, помню я какой случай, доказывающий все несходство в понятиях и нравах.

В первый, кажется, год, во время Святок, матушки-попадья и матушки-дьяконицы, желая, может быть, от души, доставить матушке удовольствие и развлечение, явились к ней наряженными по-святчному: турчанками, татарками, цыганками и черемисками, и страшно матушку напугали. Они начали плясать, кривляться и говорить разные глупости, не совсем приличные для их положения. Матушка совершенно стеснилась и не знала, что с ними делать, и они сами, заметив испуг и стеснение матушки, сами почувствовали неловкость своего положения и скоро убежали. Матушке не понравился такой фарс, хотя в нем, в сущности, не было ничего нехорошего,

а попадьи и дьяконицы долго удивлялись, как матушка не могла понять самой невинной шалости и приняла их неласково.

У всех духовных во все Святки каждый вечер были игрища, на которых происходили разные святочные игры с пением разных святочных песен. Ни батюшке, ни матушке такие игрища не нравились, и они сами у себя их не делали, да и делать было негде в такой квартире, которую я описал выше. Отношения к батюшкам также скоро изменились, батюшки, как я сказал, все были товарищи между собой, но о. Всеволода Романова сделали благочинным, и явились новые отношения, которые скоро привели к холодности, а потом к изменению товарищеского знакомства. Большое значение имели для изменения отношений и мы – дети.

У о. Всеволода и у о. Ионы были сыновья, ровесники со мною и вместе со мною поступившие в училище, но я учился хорошо и постоянно, без всякой задержки переходил из класса в класс, а они учились плоховато и часто оставались в том же классе, и скоро далеко отстали от меня. Это производило страшную зависть в других батюшках и их семействах к нашему семейству. Всем этим, конечно, объясняется то, что мы в Белой жили в своей семье, своею особою жизнью и, хотя у нас со всеми жителями села не было не только никакой ссоры, но даже пустой размолвки, мы жили не близко и ходили друг к другу только по праздникам или в каких-нибудь особых или нужных случаях. Живя дома, батюшка и матушка нас, детей, держали больше при себе дома и редко выпускали нас на улицу играть с другими детьми. Мы редко ходили даже к своим товарищам – Романову и Лопатиным, да и когда ходили, не знали, что у них делать. Мы не умели лазать по заборам и крышам, разорять птичьи гнезда, дразнить и бить собак, да и им было с нами скучно. Можно было замечать, что нас считают хорошими людьми, о батюшке говорили: «о. Яков – прямой, честный и правдивый человек». Матушку называли доброй и нежной матерью, но все-таки, в конце концов, вероятно, думали: «Не нашего поля ягода».

Таким образом, основание необщительности положено было в домашнем воспитании и домашней жизни. Остальное сделали книги и книжное образование. Так как мы больше сидели дома, то рано познакомились с книгой и в книге приучились находить то, чем другие пользовались в самой природе и жизни. Конечно, и книга представляет или, по крайней мере, должна представлять научное или художественное воспроизведение той же действительной природы и жизни, но при этом книга, более или менее, но всегда идеализирует действительность, изображает ее выше настоящего уровня. Отсюда в людях, воспитавшихся больше по книгам, чем в

практической жизни, развиваются отвлеченные, непрактические воззрения на жизнь и слишком строгие и слишком идеальные требования от нее.

Первой книгой, с которой я начал привыкать к чтению книг и находить в чтении вкус и интерес, были Четьи-Минеи Святителя Ростовского Дмитрия. По дидактическому, глубоконазидательному характеру эта книга всего более подходила к несколько домостроевскому складу нашей домашней жизни. Превосходные картины героической борьбы и страданий древних христиан за веру, полные глубочайшего драматизма и трагизма, меня глубоко поражали, трогали и настраивали душу на самые высокие помыслы. Легендарные повести в некоторых житиях (житие Евстафия Плакиды) со всею романтической обстановкой, питали воображение самым приятным образом, а прекрасные литературные изложения житий представляли лучшие образцы славяно-русского стиля и языка. Вообще, на меня сильно действовали и сразу усваивались мною литературные элементы Четь-Миней, расположение к которым лежало, вероятно, в самой моей природе. Светские ученые часто восставали против чтения Четь-Миней, утверждая, что чтение их развивает аскетизм и производит более вредное, чем полезное влияние. Но если это и бывает, то бывает от неумелого чтения, от неумения выделить из рассказов о древних временах то, что было временно необходимо, и что имеет всегдашнее значение. Я сам могу привести здесь пример такого неумелого чтения.

В селе Ухтыме¹¹ был благочестивый священник о.Афанасий Чемоданов, который любил читать прихожанам своим Чети-Минеи, но, вероятно, не сопровождал свое чтение жизненными объяснениями. Что же вышло? Крестьяне толпами приходили к нему за советами, как и куда им удалиться из мира, чтобы спастись, потому что в мире спастись невозможно. Старухи рассказывали ему свои якобы пророчесственные сны и видения, подобные тем, какие они слышали в Четь-Минях.

После Четь-Миней обыкновенным чтением было «Воскресное чтение».¹² Журнал этот, выписывавшийся на казенные деньги для Бельской церкви, был в 30-40-х годах самым популярным и полезным журналом. Содержание его было довольно разнообразно, в нем помещались и выдержки из сочинений отцов церкви, и рассуждения и размышления о разных духовных предметах современных духовных писателей, и проповеди тогдашних проповедников. Я помню, мне особенно нравились в «Воскресном чтении» проповеди знаменитого Иннокентия¹³, бывшего тогда, кажется, Харьковским Епископом, особенно увлекало меня его прекрасное изложение, стиль и язык, они делались для меня образцами литературного изложения, и по ним я начал учиться писать сам. Книг ученых и литературных в селах тогда еще не

было, литературные потребности удовлетворялись сказками о Бове Королевиче, Еруслане Лазоревиче, Семи Семионах и другими лубочными книжками, которые заносили в Белую офени-ходебщики в своих коробах.

Часть вторая

В 1838 г. я поступил в Вятскую Семинарию. Первый год моего учения в семинарии был для меня тяжелым годом, оставившим глубокие следы на моем здоровье и на долгое время. Не прошло, кажется, и двух недель с начала уроков, как я простудился в отвратительной семинарской бане, у меня сделалось рожистое воспаление на правой ноге. Меня тотчас отправили в семинарскую больницу. Бывший доктор семинарский не разобрал моей болезни и приказал делать примочки. Вследствие этого на той и другой стороне ступни образовались такие сильные и злокачественные нарывы, которые едва совсем не лишили меня ноги и целый год продержали меня на постели в больнице. Каких средств не употребляли, каких пластырей не накладывали, ничто не помогало. С начала сентября до Рождества я не мог вставать с постели. Я не знаю, зачем меня с большими трудностями и чрезвычайными для меня страданиями перевезли на Рождество в Белую. В Белой после аптечных средств начали лечить домашними средствами по совету упомянутой выше матушки Авдотьи Никифоровны. Между прочим, она посоветовала истолочь в ступе в мелкий порошок хрустальный стакан и сделать из него на меду пластырь и прикладывать к ноге, но я помню, от этого пластыря мне сделалось еще хуже. Пробовали еще несколько средств, и все они оказались бесполезными, если не вредными.

Матушка, смотря на меня, вся исстрадалась, а батюшка начал уже подумывать о моей будущей судьбе. Они заставили меня переписывать метрики. «Надобно, Ванюша, хоть писать научиться хорошенько, чтобы, если нельзя будет учиться в семинарии, поступить хоть в писцы куда-нибудь». Слова эти, сказанные батюшкой без всякого умысла, сильно меня опечалили, однако же я не терял совсем надежды на выздоровление и спустя месяц после Рождества стал опять проситься в семинарскую больницу. Меня приняли в больницу и опять стали лечить, но по-прежнему безуспешно. Так продолжалось до весны.

Весной приехал в Вятку новый молодой доктор, поляк Ивановский. Его пригласили в семинарскую больницу. Осмотрев мою ногу, он сказал, что дело слишком запущено, что в нарывах образовалось дикое мясо, что надобно будет сделать операцию – вырезать его или выжечь ляписом, иначе может развиться костоеда. Посмотрев еще раз, другой, он начал выжигать мясо ляписом, операция эта была довольно мучительна, но она спасла мне

ногу, после нее в нарывах образовались глубокие впадины, которые нужно было восполнить здоровым мясом, которое должно было нарасти. Это производилось посредством различных примочек и присыпаний каким-то порошком и продолжалось очень долго. Между тем доктор обратил внимание и на общее состояние моего здоровья. Он боялся, чтобы от такого продолжительного лежания без свежего воздуха в душной комнате у меня не развилась чахотка, и предписал разные укрепляющие средства, особенно как можно чаще велел выводить меня на свежий майский воздух.

Как только я начал поправляться и раны на ногах стали затягиваться, он велел отправить меня в село. В Белой я все лето сам указанными мне способами и данными мне средствами лечил свою ногу, делая постоянно промывания и присыпания. К концу августа я, ходивший в башмаке и валенке, мог надеть широкий сапог, а в начале сентября – отправиться в семинарию уже не лежать в семинарской больнице, а учиться. Приехав в семинарию, я прежде всего явился в больницу, показать свою ногу доктору Ивановскому. Осмотрев мою ногу, он сказал: «Ну, счастлив ты, что это случилось с тобой в молодых годах (мне было тогда 16 лет), молодость спасла тебя, а то бы тебе, пожалуй, несдобровать». Он велел мне обложить ногу каким-то сухим пластырем и носить его, не снимая сколько возможно дальше. Хотя раны зажили, но я еще хромал более полугода. Я всегда с глубочайшей благодарностью вспоминаю о моем благодетеле докторе Ивановском, который спас меня, может быть, от совершенной гибели.

После Ивановского я также должен вспомнить здесь о бывшем подлекаре семинарском, Михаиле Кирилловиче Кулеве, который чрезвычайно внимательно ухаживал за мной во время моей болезни и всячески утешал меня, когда мне было уж очень тяжело. При семинарской больнице была своя аптека, и при ней два подлекаря для приготовления лекарств и для смотрения за больными. Подлекари эти выбирались из семинаристов, учеников риторики, при самом поступлении их в семинарию и оставались в этой должности до окончания семинарского курса. Собственно, учебного семинарского курса они не проходили, сочинений не подавали, являлись только на экзамены и, «получив столба», как тогда выражались об учениках, ничего не ответивших на экзамене, возвращались в больницу, однако же, перешедшими в следующий класс за свои особые подлекарские добродетели. Но, не занимаясь семинарскими науками, они усердно занимались медицинским делом и под руководством доктора семинарского иногда до такой степени навыкали в этом деле, что по выходе из семинарии сами делались лекарями. Из таких подлекарей был и Михаил Кириллович Кулев. В течение шестилетнего пребывания в семинарской больнице он постоянно читал медицинские книги, внимательно следил за болезнями

семинаристов, научился распознавать и лечить их и составлять лекарства, так что по выходе из семинарии, сделавшись священником в селе Балезине (Глазовского уезда)¹⁴, он завел свою аптеку и лечил всех приходящих крестьян и скоро приобрел репутацию хорошего доктора во всем Глазовском уезде. Проезжая чрез Балезино в 1854 году, я заходил к нему. В это время он, увлекшись водолечебной методой Присница, открыл у себя небольшую водолечебницу и лечил разных больных очень успешно.

Таким образом, первый год семинарского учения у меня совершенно пропал. К сожалению, у меня не нашлось в это время никакого руководителя, который бы научил меня, что мне можно было делать в больнице вместо классных уроков, на которые я не мог ходить. Всего лучше бы, конечно, в это время мне заняться изучением языков, но никто не указал на это. Книг для чтения взять было негде, да и чтение книг в это время еще не было в обыкновении, и я целый год питался двумя-тремя учебниками. Целые дни и ночи я проводил почти без всякого дела, в ужасной тоске, которая часто доводила меня до слез. Между тем, по окончании года семинарское начальство хотело совсем исключить меня из семинарии на том основании, что я целый год был болен и не ходил в класс. К счастью, за меня заступился один учитель, священник Василий Михайлович Суворов. Указав на то, что я поступил в семинарию из Нолинского училища первым учеником и что он лично знает моего батюшку, как заботливого отца и меня как ученика хорошего и даровитого, упросил начальство оставить меня в семинарии еще на год. Я помню, как грустно было мне, когда я, пришедши в первый раз в класс, должен был, как показано было по списку, занять почти последнее место, на последней парте. Заметив мою грусть, учитель риторики Никанор Агафонович Романов, подошедши ко мне, одобрил меня, сказавши, что это ненадолго, что мне скоро возвратят прежнее место, когда я буду хорошо учиться. Для меня очень дорого было это утешение учителя. Соскучившись по учению, по классным занятиям и, так сказать, проголодавшись в течение целого года без них, я начал заниматься с такой жадностью, что к экзамену перед Рождеством перешел с последней парты на первую, а через полгода переведен был в следующий философский класс в числе первых учеников.

В 30-х и 40-х годах направление в образовании было еще теоретическим: согласно еще со средневековой классификацией науки, все науки разделялись на главные и второстепенные. Главными науками в семинариях и академиях считались словесность, или риторика, философия и богословие. Словесность преподавалась в низшем отделении семинарии (два года), которое поэтому и называлось словесным или риторическим отделением; философия – в среднем отделении, которое называлось философским,

богословие – в высшем или богословском отделении. До 40-х годов все эти три науки (да и некоторые другие) преподавались на латинском языке, а в 40-м году произошла в духовных заведениях реформа, главным пунктом которой было постановление преподавать все науки на русском языке. Следовательно, я, поступивший в Семинарию в 1838-1839 учебном году, по началу своего образования принадлежу еще к старому дореформенному периоду и словесность, или риторику, слушал еще на латинском языке. Риторика преподавалась по Бургию, преподавал ее упомянутый выше учитель Н.А.Романов, преподавание его ничем особенно не выделялось, переводили Бургия на русский язык, перевод сопровождался разными объяснениями и примерами из разных сочинений, потом писались сочинения или так называемые задачки в форме периодов и хрий «*omnis eloquentiae imum fundamentum est periodus, periodus est vero*»¹⁵ и т. д. Это первое положение Бургия было первым и главным положением, которое теоретически и практически проводилось во всех уроках при преподавании риторики. В конце второго года давали писать описания и даже два или три рассуждения. Книг для чтения давали мало, да и литературных книг в семинарской библиотеке тогда не было. Сочинения Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковского и Пушкина нам были известны только по образцам и примерам, которые приводились на уроках для объяснения той или другой литературной, прозаической или стихотворной, формы. Преподавание, как можно видеть, очень бедное. Оно, конечно, не могло во мне возбудить того особенного расположения к науке словесности или литературе, которое впоследствии развилось во мне другими путями, независимыми от классного семинарского преподавания.

В среднем отделении семинарии учиться было интереснее. Здесь читалась философия и читалась не на латинском, как прежде, а на русском языке, читал ее профессор из воспитанников Московской Академии, ученик и последователь знаменитого Ф.А.Голубинского¹⁶, Герасим Алексеевич Никитников.¹⁷ Из философских наук, по новому Уставу, преподавались только логика и психология, логика читалась по Бахману, психология по запискам Никитникова, которые были, кажется, сокращением академических записок Голубинского. Никитников приехал в Вятскую Семинарию в 1838-1839 году, следовательно, за два года до моего поступления в философский класс. В эти два года, составлявшие первый курс семинарского преподавания, он приобрел такую прекрасную репутацию у своих учеников, что, расставаясь с ним при переходе в следующий богословский курс, они в благодарность за его преподавание преподнесли ему золотые часы. Факт такого заявления учеников своего расположения к наставнику, до того времени, говорят, совершенно небывалый в семинарии Вятской (обыкновенно носили учителям только куличи в именины), обратил на себя

внимание всей Вятки, и о нем громко и долго говорили. Следовательно, перешедши в философский класс, уже заранее были предрасположены в его пользу. И действительно: он был прекрасным профессором, лучшим во всей семинарии в то время. Он не имел особого дара красноречия, голос у него был даже несколько сиповатый, но он говорил свободно, просто и чрезвычайно понятно, самые мудреные отвлеченные логические понятия он старался уяснить и упростить до того, что после его классного предварительного объяснения уроки выучивались не так трудно, а иногда совсем легко. Записки по психологии, которые он давал ученикам, отличались краткостью, точностью и логической последовательностью, этих качеств он требовал и от учеников, как в уроках, так и в сочинениях. На сочинения он обращал особенное внимание. Он имел обыкновение лучшие и худшие сочинения разбирать в классе, указывая достоинства и их недостатки. Эти разборы были чрезвычайно полезны для нашего умственного развития, о котором он всего более и заботился при своем преподавании логики и психологии.

По примеру предшествующего курса, и наш курс вздумал выразить свою благодарность, и в день его именин поднесли ему хорошего сукна на пару платья. Такой подарок мы выбрали потому, что узнали, что он очень небогат, что ему не на что даже сшить новый сюртук. При поднесении подарка я говорил ему речь. Мне же поручено было и собирать деньги для подарка. Это поручение было выполнить нелегко. Особенно мне трудно казалось сберечь деньги (около 5 рублей) до покупки подарка. Запирать их было негде, если с собой носить, то можно было выронить и потерять. Мне пришло в голову лучше прятывать их в тюфяке своей постели, я так и делал каждый раз, как накопилось порядочное количество. Но мысль, что могут заметить мою проделку и утащить деньги, постоянно меня так беспокоила, что я не мог спать спокойно, пока не кончилась вся эта история. Тогда я припомнил сказку-басню о веселом сапожнике.

По новому Уставу в семинарии в среднем отделении положено было читать еще медицину и сельское хозяйство. В нашем курсе еще не успели ввести преподавание этих предметов на самом деле, но Г.А Никитников, воспользовавшись постановлением Устава, дал нам тему для сочинения «О возможности и необходимости изучения медицины в духовной семинарии». Эта тема мне очень понравилась, и я особенно старательно занялся сочинением и написал такое хорошее сочинение, что Никитников назначил его чтение на публичном экзамене. Само же чтение, однако, не состоялось, потому что при множестве других сочинений, назначенных для экзамена, на мое сочинение не достало времени. Мысль сделать священника и народным врачом, способным подать крестьянам нужную помощь в болезнях, была

мысль чрезвычайно хорошая, но для того, чтобы она не осталась бесполезной, нужно было составить особую программу и руководство по медицине применительно к народным потребностям и к положению священника. Но этого не было сделано, и приглашенные в семинарию медики обыкновенно читали по университетским запискам и большею частью то, что совершенно не нужно для священника, как народного врача, но не читали того, что для него нужно. Другая мысль Устава – сделать священника сельским хозяином – была и сама по себе неудачная и неосновательная. Еще Татищев, как известно, в своей Духовной заметил, что священнику некогда заниматься хлебопашеством, да и возиться ему с навозом неприлично, это – не его дело. Это замечание совершенно справедливо. Священники и прежде занимались хлебопашеством, но при этом неизбежно оставляли многие монастырские обязанности.

В высшем, или богословском, отделении главную науку, богословие, преподавал нам наш ректор семинарии архимандрит Амвросий (Красовский) по руководству Терновского. Богословие Терновского и само по себе было очень необширно, но о. ректор нашел нужным еще сократить его и составить из него коротенькие записки, по которым мы и должны были готовить свои уроки. Преподавание его состояло только в объяснении этих записок. В богословском отделении мы писали рассуждения на разные богословские темы и проповеди.

Лучшие проповеди заставляли нас произносить в семинарской церкви и в церкви Трифонова монастыря¹⁸, где ректор был настоятелем и всегда служил там. Мне несколько раз приводилось произносить проповеди в семинарской церкви и в монастыре. Надобно заметить, что мне нравилось писать проповеди и самая роль проповедника. Я выше заметил, что на проповедях преосв. Иннокентия я начал и учиться сочинительству. Не довольствуясь очередными семинарскими проповедями, я вздумал еще попробовать написать проповедь для села, в народном стиле.

В Бельском селе на другой день Рождества бывает престольный праздник (Собор Пресв. Богородицы). Я и написал к этому дню проповедь на слова читающегося в Богородичные праздники Евангелие Луки: «Марфа, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу». Темой или предметом проповеди была мысль, что не нужно заботиться о земных благах, а надобно поучаться в законе Божии для спасения души. Я представил ее на цензуру учителю В.М. Суворову, и он ее одобрил. Приехав в Белую, я с разрешения благочинного, настоятеля церкви, сказал проповедь. Но что же вышло? Стыд, смех и досада пробуждались во мне потом всегда, когда я вспоминаю об этом первом опыте моего народного проповедничества. После обедни,

когда я вместе с бабушкой и братьями сидел дома за обедом, вдруг меня вызывают и говорят, что меня спрашивает какой-то торговый человек. Выхожу в избу и вижу – действительно торговый человек. «Что нужно?» «А вот ты, бабушка, сегодня в церкви больно хорошо сказывал о том, как надобно наживать и копить и сберегать деньги и как сделаться богатым человеком. Мы люди торговые, и это нам знать хорошо и нужно». Кровь бросилась мне в лицо. Но разве этому я учил сегодня? Я, напротив, говорил, что не нужно много заботиться о собирании денег и богатства, а надобно делать добрые дела, помогать бедным и нищим и пр. Но торговый человек и слышать не хотел моих вразумений, а продолжал повторять свое: «Нет, это больно хорошо знать, мы люди торговые».

Такой афронт произошел, разумеется, от того, что я, стараясь свои мысли о прахе и тленности земных благ сделать как можно яснее и понятнее для народа, изобразил в самых наглядных картинах, какими заботами и усилиями люди приобретают деньги и прячут их в мешочки, в коробки, сундучки, и как все с трудом нажитое богатство проходит прахом. Из этого я сделал вывод, что, значит, не нужно и заботиться о богатстве и земных благах, а стараться делать то, что нужно и полезно для спасения души. Но торговый человек, а за ним, вероятно, и все или многие другие мои слушатели поняли и усвоили только первую половину моей проповеди, а вторую оставили без внимания. Таким образом, я достиг своей проповедью цели совершенно противоположной. К большой досаде, этот первый опыт моего проповедничества для народа и в народном стиле подвергся осмеянию и в семинарии.

Цензуравший проповедь учитель В.М.Суворов, вскоре после рождественских каникул пришедши в класс значительно выпивши и балагуря на разные смешные темы, вздумал посмеяться и над моим проповедничеством в народном духе. Он рассказал в классе содержание моей проповеди и представил народный, взятый из жизни элемент в ней в таком карикатурном виде, что заставил учеников смеяться. Но что тут было смешного? Цель моя сделать поучение как можно понятнее для народа была хорошая, мысль представить это поучение в самых простых народных формах была верная. Сознаюсь, что моя проповедь, как первый опыт в этом роде, заключала в себе много недостатков, но в таком случае и нужно было только указать на эти недостатки. Между тем, насмешка была направлена не только на недостатки, но и самый принцип народного стиля в проповеди. Этот принцип слишком противоречил тому высокому стилю и высоким свойствам, какие требовались от проповеди господствовавшей тогда гомилетической теорией. До такой степени трудно тогда укладывалась мысль о народности в образовании и учительстве в головах еще самих

учителей в духовной школе в начале 40-х годов. Все это было причиной того, что указанный первый опыт моей проповеди для простого народа сделался последним опытом; больше я и не пытался писать такие проповеди. Впрочем, и мои планы в это время уже изменились, я решил не поступать в священники прямо по окончании семинарского курса, а ехать учиться в Академию или сделаться учителем в духовном училище.

К главным же предметам во всех трех отделениях семинарии относилось и чтение и объяснение Священного Писания. Этот предмет преподавал молодой учитель, приехавший из Петербургской духовной Академии А.Я.Спасский. Я узнал его еще в словесном отделении, где он читал Ветхий завет. Нам, помню, нравилось то, что он читал некоторые книги по литографированному переводу Павского.

Я пишу не историю своей жизни или своего образования, а только краткую записку, в которой положил говорить только о тех лицах, которые имели близкое ко мне отношение, о тех фактах, случаях и обстоятельствах, иногда очень мелких и несложных, которые остались у меня в памяти как имевшие значение для меня лично. Поэтому никому не должно казаться странным то, что я многое пропускаю важное и не говорю о многих таких лицах описываемого времени, которые пользовались также известностью и уважением.

Риторический и философский классы разделялись каждый на два отделения, я учился во втором отделении и потому говорил только о главных преподавателях этого отделения. В первом отделении словесность читал И.Ф.Фармаковский¹⁹, о котором я буду говорить ниже, как об инспекторе, а философию – С.Н.Каменский. Он воспитывался в Киевской Академии и отличался мистическим направлением, в своих записках по психологии он постоянно цитировал тексты Священного Писания и всю психологию старался построить на основе Св. Писания и на учении отцов церкви. Это выходило очень характерно и оригинально. Исторические науки и физико-математические считались науками второстепенными, и потому воспитанники ими занимались очень плохо. Я приехал в Академию с такими плохими знаниями по математике, что долго не способен был хорошо понимать академические лекции и в течение всего академического курса не мог усвоить математическую премудрость. Историю я также знал недостаточно, но с нею скоро сладил. В общем, в прочем виде образование в Вятской семинарии стояло на таком же уровне, как и в других семинариях, по крайней мере, воспитанники, поступавшие из нее в академии и, особенно, в Казанскую академию, оказывались не хуже воспитанников других семинарий.

Ректор семинарии арх.Амвросий был чрезвычайно добрый и скромный, без гордости монашеской и деспотизма. Он поступил в монашество, уже проживши семейной жизнью, и имел троих детей²⁰, а такие монахи большею частью бывают человечнее и добрее тех, которые отрекаются от жизни и от мира, еще нисколько не узнавши их, еще на студенческой скамье. Да и в монахи он пошел почти случайно. Оставшись после смерти своей жены с троими детьми, он вздумал приобрести для них новую мать и жениться на вдове бывшего профессора семинарии А.М.Соколова, но так как в это время он был уже священником, то должен был подать прошение в Синод о сложении с него сана духовного и об увольнении в светское звание. Но в Синоде в это время заседал бывший в Вятке епископ Кирилл²¹. Заявив Синоду, что он священника или даже протоиерея Александра Ивановича Красовского лично знает как человека хорошего и полезного, он посоветовал не увольнять его из духовного звания, а сам убедил поступить в монахи, обещая, что его немедленно сделают ректором семинарии. Он и поступил в монахи и, действительно, скоро сделался ректором семинарии. О. Амвросий не отличался особенными дарованиями ни как профессор, ни как администратор семинарии, но он был умный, добрый и честный человек и проходил свои обязанности исправно. Впрочем, инициатива и окончательное решение дела в каких-нибудь важных случаях принадлежало не ему, а бывшему тогда инспектором протоиерею Игнатию Федоровичу Фармаковскому, который и был настоящей силой в семинарии.

Это сознавали все, начиная от первого профессора, который обращался к нему за советом, и до последнего словесника-семинариста, который боялся его, как огня, и бегал от него за полверсты. Такое значение он приобрел сколько умом своим, знанием всякого дела и твердостью своего характера, столько же и положением в Вятской иерархии. Он был старшим зятем знаменитого в то время кафедрального протоиерея Азария Тимофеевича Шиллегодского, которого называли промыслом или провидением Вятской епархии и который держал ее в своих руках гораздо крепче, чем слабый тогдашний владыка Вятский преосвященный Неофит²². И как А.Т.Шиллегодский держал Вятскую епархию в своих руках, так зять его Фармаковский держал в своих руках Вятскую семинарию.

Нельзя сказать, чтобы эти руки были в ежовых рукавицах, но и не в лайковых мягких перчатках. Управление его семинарией не отличалось мягкостью, многие находили его слишком суровым, оно носило на себе все черты общего режима суровой николаевской эпохи. Он не позволял себе оскорблять семинариста действием, но не церемонился с ним на словах, любил сильно побраниться и при этом не жалел самых грубых и

оскорбительных слов. За это семинаристы называли его грубым мужиком, извозчиком и всячески бранили в свою очередь уже самым бурсацким образом. Распекания, нотации, увещевания, как отдельные, так и общие en masse он считал самым необходимым и сильным орудием своего управления и, надобно отдать ему справедливость, умел делать их. Во всей силе своего инспекторского красноречия он являлся при посещении номеров, где жили семинаристы, и на докладах ему старших о благосостоянии семинарии. При этих случаях он говорил обширные речи. Несмотря на то, что они были часто язвительны и обидны для семинарского самолюбия, семинаристы их слушали, отдельные меткие выражения пускали по всей семинарии, и они долго ходили как поговорки.

Старшие всех номеров обязаны были каждый день после уроков в 9 часов являться к инспектору для донесения о благосостоянии семинарии. И.Ф.Фармаковский при этом по поводу каких-нибудь неисправностей или беспорядков в семинарской жизни пускался в длинные рассуждения, отличавшиеся глубокими мыслями и силою красноречия, так что мы с удовольствием их слушали, мы тогда думали, что он предварительно готовился к таким рассуждениям, они продолжались по получасу, а иногда и по часу. Эти речи и рассуждения, в которых он касался самых разнообразных предметов, имели для нас, семинаристов, чрезвычайно важное воспитательное значение. Мне чаще других приходилось бывать и слушать Фармаковского, потому что я был так называемым сеньором и был посредником между учениками и начальством во всех сношениях. Я лично с глубокой благодарностью вспоминаю о нем, тем более что он помог мне поступить и в академию. Я сказал, что семинаристы его не любили и боялись, но надобно прибавить, что когда он вышел из семинарии, то все жалели о нем. И было о чем пожалеть. Это была сила, достаточно умная для того, чтобы держать на должном уровне установившийся издавна строй семинарский и согласно с этим строем направлять семинарию к известным целям.

Вятская семинария находится почти в двух верстах от города. Сохранилось предание, будто это место составляло дачу одного из вятских архиереев, который пожертвовал ее семинарии; один из семинарских корпусов до сих пор называется архиерейским. В настоящее время семинария состоит из четырех громадных корпусов, не считая отдельных зданий библиотеки, больницы, бани и проч. В мое время в семинарии жило до 400 учеников, казенных и пансионеров. Пансионеры платили – священнические дети по 80 рублей ассигнациями в год, дьяконские по 60, а причетнические по 50 руб.

Но кормили учеников не по степени или количеству платы, какую они вносили в семинарскую казну, а по степени образования, или по отделениям: богословов кормили лучше, чем философов, философов лучше, чем словесников. Для раздачи жира для щей и масла для каши поделаны были разной величины жестяные мерки, для богословов побольше, для философов поменьше, для словесников еще меньше. Из щей, когда они совсем уже сварятся в котле, снимали весь жир в особые енды и из них указанными мерками наливали в миски учеников; обыкновенно служитель, наливши в миску щей, подходил к комиссару, раздававшему жиры, подставив миску. Громко говорил: «богословам», и комиссар наливал в миску богословскую мерку жира, другой с другой миской говорил: «философам», третий говорил: «словесникам», и отпускалась философская или словесническая мерка жиру. Так же точно поступали при раздаче масла в кашу разными мерками: поднося блюдо с кашей служитель, выкрикивал: «богословам!», «философам!», «словесникам!», и комиссар наливал богословскую, или философскую, или словесническую мерку масла. Такой порядок, очень несправедливый и обидный для семинарских животиков, говорят, был заведен ректором семинарии Никодимом, бывшим потом викарием Казанским.²³

Столовая, где обедали и ужинали семинаристы, занимала весь широкий этаж западного корпуса. В эту столовую одними дверями должны были входить 400 семинаристов, как долго она в этих случаях стояла отворенной и как зимой она в это время, часто морозное, остывала, по всей столовой распространялся такой сильный пар, что севши за стол, мы часто не видели долго ни кушаний, ни друг друга и дрожали как в лихорадке, пока не согревались от горячих щей. Особенно беда была для тех, кому приходилось сидеть около дверей и даже у самых дверей, когда входили семинаристы в столовую. Мне несколько времени приходилось занимать такое место в столовой, я с ужасом вспоминаю о тех страданиях от сильного холода, какие я испытывал. Как я, при слабом здоровье, мог перенести это! Кормили нас очень плохо, а главное, очень однообразно: вечные щи и каша, только по праздникам пироги и жаркое. Богатым семинаристам из дома присылали яйца, масло и толокно. Масло, разумеется, простое, употребляли как чухонское, намазывали на ломоть черного хлеба и ели, запивая водой. Яйца ели большею частью сырыми, потому что печь или варить их было негде, да и некогда. Толокно ели с квасом, крошив туда черного хлеба или луку. Несмотря на всю первобытность последнего кушания, многие из неимущих завидовали имущим. Около семинарии находится довольно близко деревня Пахомово, куда семинаристы отправлялись похлевать молоко, заказать яичницу, селянку, даже пельмени. Пахомово, где жил и семинарский

булочник, было для семинаристов некоторого рода клубом и вместе гостиницей, где можно было не только закусить, но и выпить.

Баню для семинаристов топили через две недели или через 10 дней. Баня была большое каменное строение, и зимой от одного раза до другого так настывало, что, хотя начинали топить ее за сутки до срока, лед и замерзшая вода не успевали совсем растаять около стены и на полу, так что семинаристы, раздевшись, как можно скорее старались пробежать на полку и там мылись. Сколько семинаристов в бане сильнее всего простуживались и получали разные болезни. Имея это в виду, я зимой избегал бани или ходил чрезвычайно редко.

Библиотека семинарии помещалась в отдельном, сравнительно небольшом, но хорошем каменном здании, но существенный недостаток его заключался в том, что в нем не было ни одной печи. Вследствие этого зимой библиотека была почти недоступна или мало доступна. Учеников впускали в нее только при начале учения, когда нужно было выдавать разные учебники. Когда оказывались нужны книги кому-нибудь из преподавателей, то он представлял список их библиотекарю, а библиотекарь, накопивши несколько таких списков, отправлялся в библиотеку, одевшись потеплее, и, зараз набрав требуемых книг, уносил их в свою квартиру и уже здесь выдавал книги тем, кто их требовал. В библиотеке, сколько я помню, было много книг отцов церкви и старых изданий греческих и римских классиков, но книг ученых и литературных было мало. Для чтения семинаристам давали книги духовного содержания, особенно всем богословам давали непременно по тому того или другого отца церкви, но эти огромные фолианты в кожаных переплетах не читались. Их клали на кровать в голову, вместо досок, чтобы не проваливались подушки.

По поводу библиотеки Вятской мне приходит на память следующий случай, характеризующий отношение семинарского начальства и семинарской интеллигенции к книгам учено-литературного содержания. В 1855 г. я был в Вятке во время каникул и вздумал посмотреть, какие есть книги в Вятской семинарии по русской литературе, особенно, нет ли старых журналов: в это время я был занят мыслью составить краткий исторический обзор русских газет и журналов в XVIII веке. Библиотекарем в это время был П.В. Хитров. На вопрос мой о старых журналах он мне сейчас представил каталог всех книг семинарской библиотеки. Пробежав в каталоге отдел газет и журналов, я заметил: «Мне, кажется, прежде было больше журналов?» – «Да, больше было, да недавно много исключили из каталога, т.к. они были ветхи, растрепаны, да и разрознены». «Куда же Вы их девали?» – «Да они вынесены, как исключенные из каталога и сложены в одном месте». «Нельзя

ли мне показать их, может быть, между ними найдутся для меня интересные книги?» «Хорошо, только нельзя ли Вам побывать дня через два, к тому времени мы их подготовим». Но я стал настаивать, чтобы мне их показали теперь же, и они в большом смущении объявили мне, что они сложены частью на подволоке, частью в ретирадной комнате при библиотеке. В ретирадную комнату я не пошел, а на подволоку попросил провести меня. Оказалось, что по всей подволоке разбросаны, загажены птицами и покрыты пылью разрозненные книжки «Телеграфа», «Телескопа», «Сатирического Вестника» и др. журналов. Повторив свое обещание очистить книги и даже прислать их мне на квартиру в город, библиотекарь прибавил, что если я найду какие-нибудь книги и журналы интересными, то могу оставить их у себя, т.к. они совершенно никому не нужны в семинарии, уже исключены из каталога и девать их некуда. Через два дня он исполнил свое обещание и прислал книги. Так как разбирать их было некогда, то я и вздумал, воспользовавшись его предложением, взять все книги в Казань. В это время в Вятку на Семеновскую ярмарку приезжал казанский книгопродавец И.В. Дубровин, я и поручил ему перевезти книги в Казань. После разбора действительно мало нашлось ценных изданий, напр., за целый год или за полгода, слишком долго они валялись без призора и были растащены. Воспользовавшись ими, сколько было можно, я потом передал их в академическую библиотеку. Не более, как 30 лет тому назад, старым книгам исторического и литературного содержания в духовных заведениях еще совсем не придавалось значения, какое они имеют в настоящее время. Я помню, в то время, как я учился в семинарии, на публичных экзаменах ученикам словесности и философии в подарок раздавали по несколько книжек отчетов обер-прокурора Свят. Синода за старые годы, ученикам эти книжки были совсем не интересны, они их бросали не читавши, а семинария чрез это теряла весьма важные документы для истории русской церкви и духовного образования.

Об ученических библиотеках для чтения или каких-нибудь читальнях в мое время, разумеется, не могло быть даже мысли, в свободное время и в праздники читали те же учебные и ученые книги, как и в учебное время. Поэтому праздники проводили очень скучно. Единственным развлечением служили пение и музыка. Эти два искусства были довольно распространены в семинарии и поставлены очень хорошо. Вятская епархия уже издавна отличается хорошим церковным пением и даже особым стилем в этом пении. Этот стиль появился еще в 30-х годах при преосв. Вятском Кирилле. Вятская епархия признает Кирилла своим цивилизатором, о нем до сих пор и говорят, что он умыл, одел, причесал и научил жить вятское духовенство. Замечательно умный и талантливый (что выразилось в его проповедях), он в то же время отличался изящным вкусом, он во всем любил чистоту и

порядок, приличие и красоту, того же требовал от духовенства. Во время посещения епархии он не только производил ревизию, но и учил духовенство жить.

Приехав в село, он, разумеется, прежде всего шел в церковь и осматривал, хорошо ли она устроена и чисто ли содержится, хорошо ли служит клир... Потом отправлялся в дом священника, дьякона, а иногда и дьячка, требовал, чтобы они показали ему свое хозяйство, опрятно ли живут, как сами одеваются и одевают детей, как их учат, при этом делал разные наставления. Этот преосв. Кирилл вместе с другими хорошими обычаями ввел в епархии Вятской и хорошее церковное пение. Когда его вызвали в Петербург для присутствия в Синоде, то он взял свой хор певчих и заставил их, вместе с регентом, ходить в придворную капеллу учиться пению. И певчие выучились хорошему пению и, возвратившись в Вятку, распространили его по всей Вятской епархии.

Но я сказал, что церковное пение в Вятке отличалось особым вкусом, особым стилем. Этот вкус и стиль зависел уже от самого вятского регента, иеромонаха Анатолия. О. Анатолий был не только хороший регент и учитель пения, но и сам артист-композитор, он написал очень много церковных песен, которые долго пели не только по всей Вятской епархии, но и за пределами оной. Он лет 40 был архиерейским регентом, превосходно устроил архиерейский хор, воспитал множество отличных знатоков пения, которые потом были регентами в разных местах, и создал и утвердил тот стиль в церковном пении, который по справедливости называют вятским.

Под влиянием архиерейского хора устроился и очень хороший хор в семинарии, который, подобно и архиерейскому, также пользовался известностью в городе. Его так же, как и архиерейский хор, постоянно приглашали богатые и знатные люди в Вятке на именины, на свадьбы, на похороны и на разные праздники. Кроме пения в семинарской церкви, хор был полезен тем, что он развивал в семинаристах любовь и вкус к пению вообще. Семинаристы очень любили пение и для этого часто, особенно в праздники, собирались в некоторые номера, где было больше певцов-любителей или где жил сам регент, а летом, особенно во время рекреаций, для пения выходили на балкон архиерейского корпуса и здесь пели концерты и разные канты с оркестром музыки. Слушать такое пение выходили часто профессора и само начальство – ректор и инспектор. Едва только ректор появлялся на тротуарах, шедших вокруг всего семинарского двора и около сада, находившегося в середине этого двора, певчие начинали петь адресованный лично к нему кант:

Мы тебя любим сердечно,
Будь нам начальником вечно!
Видим в тебе мы отца.
Рады с тобою мы в воду,
Рады в огонь, непогоду,
Всякой с тобою нам край
Кажется рай, рай, рай!

Из других кантов пели канты Екатерининской и Александровской эпохи, чаще же всего любимый кант, написанный Державиным на покорение Крыма:

Гром победы, раздавайся,
Веселися, храбрый Росс,
Звучной славой украшайся,
Магомета ты потрес.

Музыку также любили семинаристы. Многие играли отдельно на скрипке, флейте, кларнете, гитаре; но главный интерес был в оркестре. Оркестр был делом всей семинарии, делом общественным. Для приобретения инструментов, для покупки нот, струн и проч. делались сборы со всей семинарии. Обыкновенно каждый семинарист при поступлении в семинарию должен был внести 50 коп. или рубль на инструменты, кроме того, в случае особых нужд, делались особые единовременные сборы. Из музыкантов избирался особый капельмейстер, который учил других музыкантов управлять оркестром, заведовал инструментами, нотами и вообще всеми музыкальными принадлежностями и всем музыкальным делом. Оркестр всегда был полный и очень хороший, так что мог исполнять самые большие и трудные пьесы. Семинарские музыканты, как и семинарские певцы, так же пользовались известностью в городе, их также приглашали играть во время торжественных официальных обедов, на балах, на свадьбах, на именинах знатных и богатых людей. Свое искусство оркестр выказывал преимущественно на публичных экзаменах и во время рекреаций, когда на балконе архиерейского корпуса играл вместе с пением семинарского хора, тогда слушать семинарскую музыку и семинарское пение приходило множество народа из города.

В газетах и журналах, как известно, часто поднимались толки о вреде воспитания в семинариях и академиях, как закрытых учебных заведений. Между тем в них, несомненно, есть свои хорошие стороны. Во-первых, достаточная обеспеченность в содержании; воспитанникам, живущим в общежительных казенных заведениях, нет необходимости отыскивать уроки

и другие средства для содержания, во-вторых, сбережение времени и сил исключительно на учебные занятия, которые при необеспеченности в содержании употребляются на уроки и другие занятия, например, переписку лекций, нот и проч. В-третьих, всегдашняя доступность в библиотеку и вообще близость и сосредоточенность в одном месте научных пособий, которыми не так легко могут пользоваться студенты, напр., университета, живущие на квартирах.

Но в закрытых заведениях много и недостатков. Во-первых, образование, полученное в них, всегда отличалось большей или меньшей односторонностью. Во-вторых, в воспитанниках мало оказывается знания настоящей действительной жизни и больше книжных элементов; в их характерах недостает силы, крепости и практичности. В-третьих, в закрытых заведениях всего легче и сильнее развиваются разные дурные наклонности и пороки, особенно пьянство.

Я сказал, что пение и музыка были единственными средствами развлечения в свободное время и в праздники; газет, журналов и литературных книг не было. За недостатком развлечений прибегали к карточной игре и к винопитию. Я хочу рассказать здесь, что особенно способствовало развитию винопития в Вятской семинарии. Винопитие в словесности (словесном отделении) еще порицалось, но выпить философу уже разрешало семинарское общественное мнение, для богословов, как мужей совершенных, готовившихся жить настоящей самостоятельной жизнью, никакой закон не был писан. В богословском классе и усиливалось винопитие в страшных размерах, и являлось настоящее пьянство.

Постепенно, конечно, но издавна утвердились в семинарии такие обычаи. Кто сделан был старшим в номере, должен был угостить своих товарищей; посвященный в стихарь богослов должен был выставить своим товарищам ведро или полведра водки; кто в первый раз говорил проповедь, также должен был купить полведра водки; кончившие курс богословы и посвящаемые в священники или дьяконы должны были угостить настоящих богословов. И так как начиная с сентября месяца каждое воскресенье и каждый праздник происходило посвящение в стихарь, произношение проповеди и поставление кого-нибудь в дьяконы или священники, то выпивки было много. Составлялось расписание, когда кому следовало устроить выпивку, так что в неделю приходилось раза три.

Самая выпивка происходила таким образом пред обедом или ужином. В более закрытом месте номера ставили на столе бутылку с водкой, около стола находились выборные ассистенты из семинаристов: один держал список

семинаристов и вызывал по нему к выпивке, другой наливал из бутылки стакан и подавал вызванному, это делалось для того, чтобы не было шума и чтобы не выпил кто-нибудь, вместо одного, двух или трех стаканов. По одному стакану выпивали все, это было даже обязательно, в целом классе было человека два-три, которые освобождались по болезненному состоянию или по другим уважительным причинам; в числе таких был и я, считавшийся по слабости натуры совершенно не способным к винопитию. Во время выпивки на крыльце корпуса дежурили на стороже один или два семинариста и зорко караулили, не идет ли инспектор, у которого, как говорили, чутье было собачье. При таких предосторожностях выпивки сходили благополучно. Но вот пирования у ставленников в городе оканчивались иногда печальными приключениями.

Собираясь на эти пирования, семинаристы, не надеясь на свою умеренность и воздержанность, зимой нанимали в Пахомове лошадь с огромными санями, чтобы тех, кто упьется на празднике до потери ног или до положения риз, как тогда говорили, привозить в этих санях в семинарию. И вечером, действительно, когда делалось тошно, осторожно приходил в семинарию обоз с такой поклажей, но, несмотря на всю предосторожность, этот обоз иногда попадал на инспектора, последствия выходили такие печальные, что некоторых совсем исключали из семинарии.

Таким образом, самые важные случаи и самые первые шаги в жизни окроплялись в семинарии водкой, как какой-нибудь святой водой. Этот обычай, впрочем, не самостоятельно развился в семинарии, а принесен был еще из домашней семейной жизни, семинаристы еще дома растут и воспитываются под его постоянным влиянием (замешаны на вине). Винопитие составляет основной элемент или основную стихию в самом темпераменте, в самой природе русской вообще и, в частности, русского духовенства. Причина этого заключается в самом таинственном процессе русской жизни, давшем ей определенный склад, и в отдаленных веках истории, которая отметила эту особенность, как изначальную и роковую черту на самых первых своих страницах. «Вино русским есть веселье пити, не может без того быти», – сказал князь Владимир магометанским послан, предлагавшим ему принять магометанство.

Но винопитие есть, конечно, и у других народов; отчего же оно только у русского народа развивается до таких безобразных размеров? В объяснение этого, кажется, можно указать на ту особенность в славянском характере, которую уже давно заметили и указывают историки: на необыкновенную мягкость и уступчивость, без всякой твердости и упругости, славянского характера, вследствие чего все славяне и русские в особенности

подчиняются всем чужеземным влияниям и являются рабскими подражателями во всем чужому, а с другой стороны, столько же рабски и без меры предаются всем наклонностям и страстям и, особенно, страсти к винопитию. Но мы имеем здесь в виду объяснить развитие этой страсти в русском духовенстве, и оно легко объясняется. Если есть важные случаи и события в русской жизни: рождение, крестины, именины, свадьбы, похороны, получение новой должности, награды за службу, они сопровождаются пированием и винопитием. То как же уберечься от него священнику, который по обязанности должен присутствовать при каждом событии, как главное лицо, благословлять ястие и питье и первый выпить и закусить? Я заметил, что винопитие в семинарии развивалось от недостатка развлечений, да и вообще семинарская жизнь была бедная: ничего не было такого, на чем бы можно было семинаристу по временам душу отвести.

Чаю тогда еще в помине не было, его заменял сбитень, с которым зимой каждое утро являлся в семинарию сбитенщик, но этот сбитень был не что иное, как горячая вода, подслащенная медом, или горячие сладковатые помои. Начиная с философского класса, я имел возможность по временам, раза три-четыре в неделю, пить цикорный кофе из поджаренных цикорных корешков, его семинаристы варили в медном чайнике на тагане. Напиток этот считался довольно вкусным, а главное, был дешев и питателен, так что его пили без хлеба или с черным семинарским хлебом. Некоторым из дома присылали меду, пили с ним шалфей и мяту, хотя они имеют чисто лекарственный характер. Какие-нибудь фрукты: виноград, яблоки, арбузы, дыни и проч., – также не были известны в семинарии. В Вятке они не родились, а привозили их из других мест, но т.к. пароходов тогда еще не было, то привозили их поздно и привозили не так много, чтобы они были дешевы и вполне доступны семинаристам. Единственным местным фруктом в Вятке всегда была репа, она и служила для большинства семинаристов вместо яблок, винограда и арбузов.

Осенью в сентябре и октябре из соседних деревень каждый день привозили в семинарию воза по два, по три самой крупной репы, эти возы стояли на семинарском дворе целый день с утра и до вечера и доставляли семинаристам самый дешевый и вкусный десерт (на грош или даже на копейку можно было купить репы на целый день). Имея в виду такую трудную и бедную семинарскую жизнь, вполне можно понять то величайшее нетерпение, с каким семинаристы ждали каникулярного времени, когда можно было уехать домой и отдохнуть от всех стеснений и лишений. «Трудна неделя, да веселы праздники», – говорит пословица. Белая отстояла от Вятки довольно далеко, на 150 верст, поэтому на масленицу и на Пасху мы не

ездили, а оставались в семинарии, но на Рождественские и летние каникулы ездили каждый год.

Поездки на зимние каникулы иногда омрачались зимними холодами. Пред Рождеством почти всегда стояли сильные морозы, доходившие до 30 градусов. Приводилось просидеть в повозке на таком морозе 4-5 часов, от одной станции до другой, и хотя нам присылались из дома для дороги большие овчинные одеяла, но и они не спасали от сильного холода, так что мы иногда вылезали из повозки и пешком шли, или, лучше сказать, бежали за лошадыми версты по две, чтобы согреться от усиленного движения. Случалось, что морозом хватит щеки, нос или уши, тогда начинали тереть их снегом и терли до тех пор, пока они не согревались. Для корма лошадей нужно было останавливаться в черных крестьянских избах, в которых тогда еще не было белых голландских печей, а были трубы дымовые. Случалось попадать на кормежку во время самой топки избы, когда она бывает буквально полна дымом и некуда от него спрятаться, тогда сидели в избе, зажавши глаза, и ежеминутно выходили для освежения дыхания на улицу. Ночевали во время дороги в таких же избах; дым и чад от постоянно горевшей лучины, которая целый вечер горела вместо свечи, стояли по всей избе густыми облаками, и спать было трудно, однако же мы спали: утомление и молодость все побеждали и брали свое.

Такое путешествие от Вятки до Белой продолжалось около двух суток. К большому горю, на дороге в деревнях нельзя было найти не только самовара, но и какого-нибудь чайника, чтобы в них сварить что-нибудь горячее. Но замечательно, что, несмотря иногда на сильный холод и указанные неудобства во время дороги, я не помню, чтобы кто-нибудь простудился сильно и делался нездоров. Дома же родная горячая печь, горячие блины, а еще более горячие ласки матери быстро отогревали назябших семинаристов и заставляли тотчас же забывать все дорожные неудобства.

Другой характер имели поездки на вакацию летом, в самое лучшее время, и были в высшей степени веселы и приятны. На дороге от Вятки до Белой было несколько сел, в которых всегда было несколько семинаристов. Все эти семинаристы сговаривались еще задолго до вакации ехать на каникулы вместе. И вот, когда наступало вакационное время, вдруг выезжало из семинарии, тянулось по дороге несколько повозок, нагруженных большими и малыми семинаристами, очень напоминавших возы переселенцев или, лучше, цыганские кибитки, шум и гам от громких разговоров и пения вырвавшихся на свободу бурсаков далеко разносились по полям и лесам. Но семинарское веселье обнаруживалось во всей силе и достигало высшей

степени во время остановок поезда для корма лошадей и для ночевки. Для ночевки выбирали всегда место в поле, подле реки или ручья и непременно возле леса. Ночью зажигали один или два костра, вокруг костров располагались семинаристы в самых живописных позах. Прилаживали котелок, в котором варили какое-нибудь варево, пекли грибы. Шли самые веселые разговоры и пелись песни, вообще все это шумело и бурлило, как молодое пиво, и весь поезд представлял настоящий цыганский табор. Нашумевшись вдоволь, ложились спать, кто в кибитке, кто под кибиткой, а кто и просто растягивался на траве. С восходом солнца табор поднимался и отправлялся далее.

Вакации мы проводили в селе очень весело и приятно, принимая небольшое участие в домашних хозяйственных занятиях. Мы приезжали из семинарии на каникулы обыкновенно к тому времени, когда еще косили сено. Мне чрезвычайно нравился запах скошенной и высушающей на солнце травы. Сено косили обычно посредством помочей, приглашая на них прихожан на день из той или другой деревни и потом угощая их за работу обедом и ужином, вином и пивом. Нас при этом, кого-нибудь постарше, посылали посмотреть за косцами. Убирали сено уже домашними силами: работник, церковный сторож и сам батюшка, при этом сгребать сено в небольшие копны, возить его помогали и мы. Когда поспевали рожь или овес, делали так же помочи для жатвы, нас опять посылали возить снопы на гумно и складывать их в скирды. Помочи косить сено собирались большею частью из мужиков и парней. А помочи жать рожь и овес – из баб и девок.

Как те, так и другие приходили на помочь, как на праздники и одевались, особенно женский пол, в лучшие свои наряды, любо было смотреть, как пестрели разными цветами полосы ржи от разноцветных женских платков и сарафанов. Помочи часто бывали большие – от 30 до 40 человек. С поля к обеду и ужину они возвращались всегда с песнями. По окончании ужина начиналось настоящее веселье, пели уже не одни голосовые песни, но и плясовые песни и плясали часто дольше полуночи, так что помочи и для нас составляли большое развлечение.

С церковной точки зрения это было непозволительно, петь мирские песни и плясать, особенно в доме священника и с его разрешения, это было даже преступно. Но батюшка относился к этому разумно и снисходительно, в пении и пляске самих по себе, как выражении естественном человеческих чувств, он не видел ничего нехорошего, другое дело, если нехороши, неприличны были самые песни, но таких песен петь не позволяли, да и сами крестьяне таких песен не пели, помня, что они веселятся в доме батюшки, отца духовного. Я намеренно останавливаюсь на этой замечательной черте в

батюшкином характере. Принадлежа по своему воспитанию и образованию еще к 20-м годам, сын простого сельского священника и живший постоянно в селе, он отличался редкой в то время разумностью взглядов, гуманностью и снисходительностью в таких вещах, относительно которых у других священников, его даже товарищей, выражались страшный ригоризм и нетерпимость. Это особенно заметно было во взглядах его на посты, он, например, всем нам и особенно мне, как слабому и болезненному, всегда разрешал в постные дни есть скоромное, указывая на то, что пост должен состоять главным образом в умеренности, что постная пища для слабых тяжела.

В Великий пост он не только разрешал другим есть рыбу, но и сам позволял себе употреблять ее, особенно когда почувствует в себе слабость сил. Замечательно также, что он хорошо умел понимать разные народные суеверия, не веря в них сам и в этом отношении стоя выше многих своих братьев, которые нередко принимали их вместе со своими прихожанами, он относился к ним без всякой суровости и фанатизма, когда встретился с ними в жизни крестьян, но снисходительно, с разумным словом убеждения. Я объясняю себе это качество в батюшке частью его природной разумностью, частью влиянием духа нового времени, проникавшего и в лесные глухие местности Вятские.

Рядом с этим во все лето шли небольшие занятия в огороде по указанию матушки. Здесь мы пололи или выдергивали дурную траву, которая заглушала посаженные огородные овощи, поливали эти овощи, т.е. горох, репу, огурцы, мяту, ромашку и проч. Делать все это было приятно, потому что в награду за это у нас было позволено употреблять поспевающие овощи, сколько угодно. Приятным и веселым занятием было во время каникул собирать ягоды и грибы. В окрестностях Белой особенно было много малины. Мы часто отправлялись компанией (человек пять и более) на лошадях, верст за пять и дальше, на целый день, с пяти часов утра и до восьми, девяти часов вечера.

Около леса, особенно на так называемых гарях (горелые места), нам случалось находить такие богатые ягодами места, что на одном месте в продолжение дня набирали малины 3-4 ведра. Более крупную малину отбирали на варенье. Другую сушили и для того раскладывали ее на капустных листках в печь на ночь. Часть употребляли на настойки, на наливку, наконец, смятую малину вместе с сиропом заливали в кадках отварной водой и ставили в погреб. Это называлось мочить малину. Сушеная малина употреблялась в хозяйстве в продолжение целого года, во время поста из нее варили малиновые щи с сорочинским пшеном²⁴, пекли сладкие

пироги. Ее употребляли, наконец, вместо чая и как потогонное средство, когда кто-нибудь делался нездоров. Моченую малину подавали на стол вместо десерта как моченые яблоки, подслащивая ее медом или сахаром, и употребляли с белым хлебом. Кроме малины много также собирали черной смородины, из которой варили варенье и делали наливки, а также сушили в запас на зиму для разного употребления в кушаньях. За ягодной порой наступала грибная пора.

Грибов всякого рода в Белой было много. Надо заметить, что в Вятке слово «грибы» – не общее и родовое название всех грибов, но частное, видовое, и обозначает только одну породу грибов, так называемых белых. Общим родовым названием грибов служило название «губы», вместо «идти за грибами» говорят «идти за губами», суп из грибов называется губницей, пирог из грибов – губником. Более всего собирали грузди и рыжики. Грузди солили и запасали на зиму, собирали все, но особенно любил их собирать батюшка, и набирал их иногда очень много. Выше всех грибов ценились рыжики. Некоторые местности Вятской губернии, и в том числе Глазовский уезд, славились прежде обилием рыжиков, которые имеют несколько иной вид и вкус, чем в других местах. Рыжики растут в еловых лесах, имеют синеватый вид и вкус, отзывающийся запахом еловых шишек. Собирать рыжики мы также ездили компанией на лошадях верст за пять. Рыжики растут сплошь большими полосами, попадаются такие полосы, что в одной можно иногда набрать целое большое лукошко. Растут рыжики большей частью под еловым хворостом и так низко в земле, что надобно ползать, и при этом иногда недостаточно только смотреть на землю, а надобно ощупывать рукой, иначе можно пропустить самые мелкие рыжики, которые особенно ценятся.

Для удобства отыскивать и выламывать такие рыжики берут с собой ножики. Крупные рыжики отбирали для соления, мелкие – отваривать в уксусе или мариновать. Маринованные вятские рыжики славятся повсюду и употребляются при больших столах и обедах как лучшая закуска, наряду с разными балыками. Матушка была большая мастерица готовить маринованные рыжики. Но самое большое удовольствие в каникулы доставляли поездки в деревни во время крестных ходов на поздние озими²⁵. У крестьян Бельского села издавна утвердился обычай – в августе месяце, на первые озими, подымать иконы и служить молебны. Вечером, накануне назначенного священником дня, приходят в село богоносы за иконами, человек 5-10, и приносят их в деревню. На другой день утром присылают три пары лошадей с кибитками для церковного причта и одну из них – для поповых ребят, т.е. для нас. Батюшка брал с собой поочередно кого-нибудь из нас, братьев, одного или двоих. В деревне на поле, на

полосах озими, устанавливались иконы на особо укрепленных для них подмостках, которые украшались деревьями: березками, рябинками, липами и разными цветами. Здесь служили общий от всей деревни молебен. Огромная толпа молящихся пред открытым небом, развевающиеся по ветру хоругви, несущийся в облака дым кадила, громко, хотя и не всегда стройно раздающиеся голоса поющих – вся эта обстановка молитвенного служения Богу в нерукотворном храме природы представляла трогательное зрелище и производила на меня глубокое впечатление. После молебна священник обходил со святою водой по первым полосам озими. Затем, после общего молебна на поле, переходили с иконами в самую деревню и служили отдельные молебны в домах тех крестьян, которые желали.

По окончании всех молебнов возвращались на поле. Затем на тех же полосах озими приготавливали длинный стол из досок. На этот стол каждый крестьянин и каждая крестьянка приносили все, что у них было приготовлено для праздника: кто плечо или грудину жареной баранины, кто вареного или жареного поросенка, кто рыбную кулебяку, жареных окуней, вареных карасей, вареную или жареную курицу, яичницу, разного рода пирожки с репой, морковью, горохом, ягодами, одним словом, стол был наполнен разнообразными кушаньями. Во главе стола садили, разумеется, батюшку с причтом и поповых ребят, а потом садились старшие и большаки деревни, женщины за стол не садились, а ходили вокруг стола и угощали. Нам постоянно подкладывали из кушаний того, что было послаще: разных пирожков, ягод, меду и проч., и мы так наедались, что такое угощение только на свежем воздухе могло происходить благополучно. После обеда мы иногда оставались в деревне на несколько времени походить в лесу, покататься на реке на лодке, сходить на мельницу. Угопив за столом, добрые хозяева, особенно женщины, давали еще гостинцев на дорогу – малиновых лепешек, гороху, репы, а иногда посылали сот меду матушке. Отправляли нас домой в повозке с колокольцами, прокатиться таким образом верст десять было в высшей степени приятно.

При описании крестьянских ходов с иконами по деревням уместно будет рассказать факт, показывающий обратную сторону крестьянского благочестия, именно суеверное почитание икон, по которому крестьяне чтут не святого, изображенного на иконе, а саму икону. В Бельской церкви с давних пор находилось резное деревянное изображение или статуя Николая Чудотворца, к которой крестьяне питали самое суеверное обожание. Но так как в нашей православной церкви запрещено употребление резных изображений или статуй святых, то благочинный, узнав об этом, приказал Бельскому духовенству вынести из церкви статую Николая Чудотворца в подвал. Услышав об этом, крестьяне подняли настоящий бунт, и

духовенство нашло вынужденным поставить опять Старичка Николу в церкви. Подсвечник, поставленный перед Старичком, всегда был полон свечами, более чем перед другими иконами, пред Старичком постоянно служили молебны. Но вся сила суеверного почитания статуи Николы Чудотворца обнаруживалась во время крестных ходов с иконами на озими. Каждая деревня непременно хотела, чтобы на молебен приносили к ней статую Старичка, иначе не хотела служить и молебен. Так как такие требования заявлялись от разных деревень из трех приходов и удовлетворить их было нельзя, то для избежания ссор между деревнями разных приходов духовенство условилось и постановило, чтобы Старичок в один год ходил с иконами в одном приходе, в другие годы – в другом, третий – в третьем. Но при этом позволялось в известный день брать Старичка и в неурочный приход, если не было требования в этот день в приход урочный.

В pendant этому факту припоминается еще и другой факт, также показывающий, что благочестие русского человека привязано чисто к внешности и при том такой, которая всего резче и сильнее поражает внешнее чувство. Для Бельской церкви нужно было купить новое Евангелие на престольное и потир. Духовенство предложило прихожанам сделать пожертвования на эти предметы. Пожертвования начались, но шли очень тихо и были незначительны. Батюшка или другой священник вздумал предложить завести еще новый колокол. «Вот в Ухтыме, – сказали они, – какой славный колокол в 500 пудов, звонят, так и нам слышно, а чем Ухтым (село в 50 верстах от Белой) лучше Белой. Только, видно, усердия там больше». Быстро стали увеличиваться пожертвования, и в непродолжительное время денег было собрано так много, что на них оказалось возможным не только завести колокол, но и купить на престольное Евангелие и потир и сделать разные поправки в церкви. До такой степени крестьяне пристрастны к колокольному звону, как к самому громкому и осязательному способу богоугождения. При этом невольно приходит на мысль одно обличительное слово Максима Грека, который, упрекая москвичей в ложном понимании христианского благочестия, говорил, что они чтут Бога «многочумными колоколами, украшают иконы и Евангелие золотом и серебром, а силы словес Евангельских не хотят разумети и Евангельских заповедей не исполняют».

Это было сказано в XVI веке, но такое понимание христианского благочестия продолжалось и продолжается до сих пор, и не в деревнях и селах, но и во всех городах и в той же самой Москве.

Вот и все развлечения, какими мы пользовались во время семинарских каникул. В гости ходить или ездить было некуда, оставались книги, и я во время каникул брал из церковной библиотеки «Христианское чтение», «Воскресное чтение», и «Творения Св. Отец». Последний год семинарского учения я жил не в семинарии, а в городе на кондичии в доме кафедрального протоиерея Азария Тимофеевича Шиллегодского. Вот как это случилось. В богословском классе я был сделан старшим в номере богословов, следовательно, у своих товарищей, и в то же время сеньором, который был посредником во всех сношениях учеников с инспектором и вообще начальством.

Учреждение старших вообще я считаю самым вредным учреждением, перешедшим в прежний семинарский устав из польских коллегий и имеющий чисто иезуитский характер. Как можно заставлять следить за поведением учеников ученика же и часто за товарищем товарища? Это совершенно портит, извращает все отношения между учениками и особенно между товарищами. Сам старший был поставлен буквально между двух огней, требования учеников часто диаметрально расходились с требованием начальства, меж тем нужно было угодить той и другой стороне или стать в противоречие, в оппозицию с той или другой. Такое положение развивало в старших ложь и лицемерие, а в учениках, подчиненных старшему, иногда товарищу, возбуждало зависть, а часто – ненависть, мстительность и преследование. Зная все это, я всячески отказывался от должности старшего у своих товарищей-богословов, указывая на свое слабое здоровье, свой слабый характер и вообще на свою неспособность. Но воля начальства стояла выше всех моих просьб. Целый год промучился на своей должности, как в самой тяжелой пытке, в постоянных опасениях возбудить к себе нерасположение или начальства, или учеников-товарищей. Инспектор требовал, чтобы я доносил о всех проступках учеников, я же этого, разумеется, не мог делать и постоянно просил его уволить меня от должности старшего. Он сердился и часто бранился, но я продолжал просить его об увольнении. Так прошел год для меня в постоянных выговорах.

На другой год, по возвращении с каникул я опять собирался объявить инспектору решительно, что я не могу быть старшим у своих товарищей, как вдруг он сам призывает меня и говорит: «Вот вы в прошедший год просились от старшинства уволить, не хотите ли пойти в город на кондичию к моему тестю А.Т.Ш? Нужно приготовить его мальчика к поступлению в семинарию». Я чуть не бросился ему в ноги за такое предложение и с величайшей радостью согласился. Предложение это было сделано утром, а вечером я уже переехал из семинарии в город. Семейство Шиллегодского

было известно не только во всей Вятке, но и во всей Вятской епархии как семейство самое почтенное и самое аристократическое в духовном кругу. Сам Азарий Тимофеевич в этом семействе был настоящим патриархом, окруженным множеством детей и внуков и внучек, племянников и племянниц и разных родственников близких и дальних. У него было четыре сына и семь дочерей. Старшая из детей была за инспектором семинарии И.Ф. Фармаковским. Вторая – за профессором философии Г.А. Никитниковым, третья – за профессором А.Я. Спасским, сыновья были моложе дочерей и в то время еще учились. Когда в праздники на семейные обеды или вечера собирались к нему только самые близкие родственники, то в доме его все комнаты полны были народу.

Но патриархом и главой Азарий Тимофеевич был не только в своей семье, но, можно сказать, во всей Вятке. Около 40 лет он заправлял всей Вятской епархией и заслужил название Провидения или Промысла Вятской епархии. Ближайшим поводом к такому названию, говорят, был следующий случай.

Преосвященный Неофит, прочитав прошение одного священника, сказал ему, что он не может сейчас решить это дело, что надо посоветоваться еще с Промыслом, что пусть он придет завтра. Получив такой ответ, священник отправился домой, но, остановившись в прихожей, он разговорился с келейником преосвященного. Вдруг преосвященный зовет келейника и спрашивает: «Не здесь ли тот священник, который сейчас приходил, и если здесь, то позвать его сюда». Когда возвратился священник, преосвященный сказал: «Вот я твое дело решил как; снеси прошение в консисторию». Проходя через прихожую, священник вздумал спросить у келейника: «Кажется, кто-то есть у владыки?» – «Есть, – протопоп Азарий». «А, так вот кто служит у него Промыслом». Священник не отличался скромностью, рассказал об этом случае другим, и протопоп Азарий получил название Промысла Вятской Епархии.

Азарий Тимофеевич пользовался общим уважением не только в духовном, но и светском кругу. В праздники Рождества и Пасхи, в его именины к нему съезжалось множество народа для поздравления, в именины городское духовенство и благочинные из разных сел и городов подносили ему часто подарки (серебряный бокал с подносом, чайный сервиз, чаю и сахару). Такое уважение он приобрел своим умом и образованностью, знанием всякого епархиального дела и вследствие этого своим огромным влиянием на все епархиальные дела, наконец, своим симпатичным характером и политическим со всеми обхождением. Супруга его Елизавета Гавриловна была также очень умная, красивая и чрезвычайно бойкая дама и в женском духовном ареопаге имела во всех делах первенствующий и решающий голос. Не

только своя родня, но и часто чужие и посторонние лица не смели предпринять чего-нибудь важного, не спросив ее совета или не узнав ее мнения. «Что скажет, что и как думает Елизавета Гавриловна?» Это, впрочем, и было необходимо, потому что она, как дама властная и настоящий судья, о всяком случае без церемоний произносила свои суждения, делала замечания и выговоры.

Обстановка в доме Шиллегодских и вообще вся их жизнь была устроена на аристократическую ногу, и они вели знакомство с первыми вятскими аристократами из чиновничества. Детей своих они воспитывали очень заботливо. В это время еще не было ни одного женского учебного заведения в Вятке, но дочерей своих они учили посредством домашних учителей, приглашая для этого семинаристов, а иногда и учителей семинарии. Кроме наук учили их играть на фортепиано и танцам, что в 40-х гг. в духовном кругу было еще новостью и редкостью. Старшего сына Николая они не отдавали в Духовное училище, а учили дома. Меня пригласили для того, чтобы пройти с ним то, что было уже пройдено другими учителями по предметам училищного образования, и окончательно приготовить его к поступлению в семинарию.

Прожить в таком знатном и интеллигентном семействе было весьма важно для меня, для моего развития. Здесь можно было насмотреться и послушаться весьма много такого, что мне могло быть полезно в жизни. Но, к сожалению, я не мог вполне воспользоваться своим завидным для других положением. Этот год был последним годом моего семинарского учения, и я готовился в академию. Половину времени я должен был употреблять на уроки, сочинения и вообще на занятия с учеником, а другую половину – на классные занятия семинарские и на приготовление в академию. Меня постоянно мучила мысль не успеть сделать всего, что нужно было сделать в той и другой области знаний. Я до того занимался, что часто ходил, как помешанный, и попадал в самые смешные положения.

Однажды вечером прихожу в свою комнату и не нахожу свечи на столе. Подождав немного, я пошел ее отыскивать и в столовой встретился с о.Азарием. «Вы что ищете, И.Я?», – «Да вот у меня свеча со стола куда-то сбежала». Азарий ужасно рассердился: «Кто смел взять свечу И.Я?» – поднялся шум на весь дом, но свечи не находили. «Да вы, вероятно, уходили куда-нибудь в это время», – сказал Азарий. Тут я припомнил, что свеча пропала в то время, когда я уходил в ... Отправившись туда, я разумеется, нашел там свечу. Когда я возвращался со свечой в свою комнату, то никто мне не встретился, как будто все спрятались, чтобы не видеть моего конфуза.

За углом, разумеется, все вдоволь посмеялись. Но не показывали и виду, что заметили.

Очень тяжелы были для меня хождения в семинарию из города. От соборного дома, где жил о.Азарий, до семинарии было более двух верст, вперед в семинарию, особенно в дурное время, меня часто отправляли на лошади, но назад я должен был большею частью возвращаться пешком, это было очень тяжело, каждый день я слишком утомлялся, часто простужался. Весной я получил сильную лихорадку, так что должен был отправиться в семинарскую больницу и пролежал здесь недели две. Конечно, ничего бы не стоило и каждый день посылать за мной лошадь, и о. Азарий и его супруга так и хотели делать, но в доме была особа выше и о.Азария, и его супруги – это известная всей Вятке их бабушка Матрена Ивановна; это был фактотум метр д'отель.

Она заведовала и управляла решительно всем в доме и хотела иметь влияние и на о. Азария. «Что за члены сидят у вас в Консistorии? Не могли толком разобрать дела священников NN? Что это в соборе у вас делается? Все без порядка, сегодня такой большой праздник, а ризы надели совсем будничные». О. Азарий выслушивает такие замечания и потом в насмешку спрашивает иногда: «Матрена Ивановна, а какие ризы надеть сегодня?» Она же, принимая это совершенно серьезно, ответила: «Известно какие, надо надеть газетовые или крестовые. А стихари к ним идут такие же». Зная такую силу Матрены Ивановны, некоторые епархиальные просители, имевшие нужду до о. Азария, прежде всего, заявлялись к Матрене Ивановне, подносили ей голову сахара или фунт чая. Вот по воле этой Матрены Ивановны и мне приходилось испытывать некоторые лишения. Я иногда спрашивал кучера, отчего он не приезжает за мной в семинарию. «Матрена Ивановна не велела! Матрена Ивановна послала в другое место». Между тем сама Матрена Ивановна, увидев меня возвращающегося из семинарии в снегу или во время дождя, разводила руками: «Что это за разбойник, этот кучер, он верно опять за вами не ездил, а уж сколько я ему наказывала». Я знал, в чем дело, но знал также, что против Матрены Ивановны, как против судьбы, ничего нельзя было сделать, на ее волю не было никакой апелляции или протеста. Но лошадь была почти единственным предметом столкновений с Матреной Ивановной, во всех других отношениях жить в доме о. Азария мне было хорошо. Ко мне были крайне внимательны и обходились со мной как со своими близкими родственниками. И впоследствии, когда я приезжал в Вятку из Академии, меня всегда принимали превосходно. Ученик мой был мальчик даровитый и чрезвычайно прилежный. Так что заниматься с ним мне было весьма

приятно. Через 6 лет он поступил в Казанскую Академию и, кончив здесь курс магистром, был профессором Вятской Семинарии.²⁶

Четыре года в казанской академии

Я с малых лет уважал сан священника. Но в то же время у меня очень рано явилась мысль – как бы избежать необходимости поступать в священники тотчас после окончания курса семинарского. Сначала я думал сделаться учителем духовного училища, а потом решил ехать в академию даже на свой счет, если не пошлют на казенный. Во-первых, мне слишком тяжелым представлялось совершенно зависимое положение сельского священника от всякой духовной и светской власти. Я сам лично не видел, а только часто слышал, как обращался с сельскими священниками архиерей. Но мне часто приводилось видеть, как относился к ним благочинный, который в своих районах играл роль архиерея. Сколько страху и хлопот в селе производило одно ожидание его приезда, сколько нужно было употреблять поклонов, унижений, подарков, чтобы приобрести благосклонность или избежать гнева этого начальника?? Я знал, какое сильное влияние нравственное может иметь священник на прихожан своих и сколько может сделать им добра, особенно в наших местах, где почти совсем не было помещиков, совершенно уничтожавших как своей властью, так и своей жизнью всякое значение приходского священника, но вместо помещиков в 40-х годах было Окружное Управление²⁷. Известно, какую бурную память оставило по себе это Окружное Управление. Говорят, когда император Николай Павлович спросил Меньшикова, какое бы средство употребить для того, чтобы усмирить горцев на Кавказе, Меньшиков отвечал: «Всего лучше будет, конечно, завести Окружное Управление, тогда у них не только пики и винтовки не будет, но и хлебного ножа». Действительно, Окружное Управление, заведенное для того, чтобы наблюдать за крестьянским хозяйством и заботиться об улучшении быта и благосостояния крестьян, вместо этого совершенно разоряло крестьян. Однажды приходят к батюшке два мужика из одной деревни и говорят: «Батюшка, защити: писарь хочет заковать нас в кандалы, если мы не дадим ему по пяти рублей за то, что мы будто плохо смотрим за своим хозяйством. Вот, видишь, его курицы часто ночуют на моем дворе; ты, говорит, зачем чужих куриц запираешь? – А ты зачем плохо смотришь за своими курицами! – Оба, значит, виноваты».

Все места – станového, головы и писаря – в Окружном Управлении были по откупу. Чтобы выбрать заплаченные за эти места деньги, чиновники брали с крестьян взятки, привязываясь ко всякому случаю. Писарь Бельского Правления Семен Поршневу, переходя на другое место службы, оставляет

своему преемнику такую характерную записку: «Бельская волость – хорошая волость, я просеял ее сквозь сито. Ты можешь просеять еще сквозь решето».

Но особенно привязывалось окружное начальство к крестьянам в так называемых смертных случаях, когда умирал в деревне кто-нибудь скоропостижно, без исповеди и причастия. Тогда наедет суд и производит следствие до тех пор, пока не разорит всей деревни. Жалея крестьян, батюшка часто не доносил о смертных случаях, а заручившись показанием крестьян всей деревни, что в известном случае нет ничего злоумышленного или сомнительного, хоронил умершего прямо сам, без разрешения окружного начальства. Окружное начальство страшно злилось на батюшку и говорило: «Ох, этот поп Яков, попадетса же он когда-нибудь в наши руки, мы разорим его до последней ниточки за то, что он суетса не в свое дело и нам мешает». И вот, воспользовавшись одним случаем, когда батюшка, не донося начальству, похоронил скоропостижно умершего, окружное начальство нарядило следствие. Целый месяц пытали крестьян, добиваясь от них нужных для осуждения батюшки показаний. Но таких показаний не оказывалось, тогда вырыли труп умершего и анатомировали его, но и после этого ничего не оказалось, что могло бы свидетельствовать о насильственной смерти. Батюшка, разумеется, был уверен, что ничего не было насильственного или даже сомнительного, но в то же время знал, что власти намеренно могли извратить все дело и оклеветать его, и он целый месяц во все время, как производилось следствие, испытывал постоянное беспокойство и мучения.

В 40-х годах во многих селах были открыты крестьянские училища и поставлены были под заведывание Окружного Управления, но эти училища содержались чрезвычайно дурно. Училищные дома – старые развалившиеся лачужки – отоплялись плохо, учебные пособия и письменные принадлежности доставлялись неисправно, жалованье учителям платили часто только в половину против положенного. Учителем в Бельском училище был батюшка. Приезжает к нему волостной голова с жалованием за полгода (50 р.), развернув пред ним приходо-расходную книгу и положив на нее деньги, просит батюшку расписаться в получении их. Пересчитав положенные деньги, батюшка пишет: «25 р. получил». «Что Вы, батюшка, делаете? Ведь в книге написано 50 рублей». – «Но Вы мне дали только 25 рублей, я так и пишу». – «Батюшка, ведь мне только 25 р. и дали, а другие 25 остались у начальства. Где же мне взять их? Своих у меня денег нет. Вам хоть половину платят. А другим учителям иногда и ничего не дадут, а все-таки заставляют расписаться».

Зато этих других представляли к наградам: скуфьям, камилавкам и орденам за отличное прохождение учительской должности, а батюшку за то, что он не хотел расписываться в неполученных деньгах, никогда ни к какой награде не представляли, он занимался в училище самым усердным образом и часто на свой счет покупал письменные принадлежности, когда их не высылало окружное начальство. Начальство это вообще не любило батюшку за то, что он всегда во всех важных случаях давал советы крестьянам и всегда защищал их от несправедливых притязаний или притеснений станового, пристава, головы, писаря и др. Я все это видел и слышал постоянно, все это меня возмущало до глубины души. Во-вторых, меня сильно заставляло задумываться необеспеченное положение духовенства в содержании, вследствие чего священники нищенски должны были выпрашивать себе кусок хлеба под окнами у своих крестьян. Такое положение унижало священника и ставило его в совершенную зависимость от прихожан, так что он не может держать себя свободно и теряет всякое влияние над ними. В-третьих, наконец, меня заботило мое слабое здоровье, при котором я не надеялся хорошо исполнять все священнические обязанности.

Мне не по силам представлялись хождение по неделе с крестом по приходу зимой, во время Рождества, иногда в сильные морозы, и весной, на Пасху, во время разлива реки и половодья, когда несколько раз можно было выкупаться и получить горячку, лихорадку, ревматизм и проч. Меня пугало также исправление треб по приходу. Я часто видел, как зимой, иногда в полночь приезжали за батюшкой из деревни верст за 10 или 15 от села, с требою исповедать и приобщить умирающего, и он должен был ехать, но едва он успевал отдышаться, как к воротам дома подъезжал иногда другой крестьянин из другой деревни с таким же требованием. Все это постоянно заставляло меня думать о том, чтобы по окончании семинарского курса как-нибудь поступить в Казанскую Академию, если не в числе казеннокоштных воспитанников, то волонтером за свой счет.

Примечания

¹ На самом деле в 1886 Васильеве, на даче во время каникул Иван Яковлевич Порфирьев только начал писать воспоминания и составлял их до конца жизни.

² Ныне исчезнувшее село на территории Советского района Кировской области.

³ В Вятской губернии было два села с названием «Кырмыж». Одно находится в Куминском районе Кировской области, другое – в Сернурском районе Республики Марий Эл.

⁴ Ныне с. Шурма Уржумского района Кировской области.

⁵ То есть за тем выпускником семинарии, за которого выйдет замуж внучка о. Гавриила.

⁶ Казовый конец – тот конец куска сукна, который показывали покупателю. Зачастую он был соткан качественнее, чем весь кусок. «Показывать казовый конец» – идиома, распространенная в XIX веке, аналогичная современной «втирать очки».

⁷ Этот кант до середины XIX века, фактически был государственным гимном России.

8 Нил (Николай Федорович Исакович) (1799-1874), архиепископ Вятский и Слободской в 1825-1838 гг., позже архиепископ в Иркутске, Ярославле. Действительно, был знатоком буддизма и бурятского языка, на который переводил богослужебные книги.

9 Крепленое сладкое красное вино (портвейн) с острова Тенериф или аналогичное ему.

10 Полушерстяная-полубумажная ткань фабричного производства, была значительно дешевле сукна, из казинета шили вицмундиры мелкие чиновники.

11 Ныне Богородского района Кировской области.

12 Журнал «Воскресное чтение».

13 Иннокентий (Иван Александрович Борисов) (1800-1857) – известный богослов, церковный оратор и деятель церковного образования. Будучи ректором Киевской духовной академии, основал журнал «Воскресное чтение», в котором до половины текста составляли его проповеди.

14 Ныне районный центр в Удмуртии.

15 «Всякого красноречия фундамент есть период, и истинно период».

16 Протоиерей Федор Александрович Голубинский (1797-1854) – профессор Московской духовной академии, основатель собственной философской системы. Почти не печатался, но его взгляды широко распространялись, потому что множество его учеников преподавали философию в семинариях по собственным конспектам лекций Голубинского.

17 Герасим Алексеевич Никитников (1812-1884). Проработал в Вятской семинарии до конца жизни, издал книги: «История Вятской епархии» (1863), «Историко-статистическое описание Воскресенского собора в Вятке (1874).

18 Успенский Трифонов монастырь в г. Вятке, главный в Вятской епархии.

19 Игнатий Федорович Фармаковский, протоиерей (1813-1873). С 1863 года был редактором Вятских епархиальных ведомостей.

20 Его сын, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии и преподаватель Вятской семинарии в 1850-1860-х гг., был известным деятелем общественного движения в Вятке.

21 Кирилл (Богословский-Платонов), архиепископ Вятский и Слободской в 1827-1832 гг.

22 Неофит (Соснин) – архиепископ Вятский и Слободской в 1838-1851 гг.

23 Никодим (Никита Иванович Казанцев) (ум. 1874), с 1855 епископ Чебоксарский, викарий Казанской епархии, с 1864 – епископ Енисейский.

24 Сорочинское (сарацинское) пшено – рис.

25 То есть на сев озимой ржи.

26 Николай Азарьевич Шиллегодский (ум. 1884) действительно в 1854 году закончил Казанскую духовную академию, служил преподавателем Вятской семинарии, в 1864 году перешел на гражданскую службу, служил в губернском правлении, был мировым судьей в Сарапуле.

27 Имеются в виду Окружные управления Министерства государственных имуществ, созданные в 1838-1841 гг. в ходе реформы П.Д. Киселева.

Опубликовано:

Православный собеседник. – 2005. – Вып. 2(10). – С. 88–170.